

# Вера Панюкова

---

Вера Федоровна Панова

Сентиментальный роман

О юность легкая моя!

Пушкин

1

После долгой разлуки Севастьянов ехал в город своей юности.

Когда-то Илья Городницкий рассказывал:

«Я гимназистом ушел из дому. Черт знает, где только не был. В Тифлисе при меньшевиках работал в подполье, накрыли, сидел в камере смертников, уцелел чудом. Был комиссаром дивизии, членом ревтрибунала, воевал, учился, жил в Москве, в Гамбурге, в Париже, написал книгу. И вот приезжаю домой. На Старопочтовой цветут акации. В тротуаре выбоины на тех же местах. Старые евреи сидят под акациями на стульях, дышат воздухом. Не помню, кто такие. Ну, думаю, меня тем более не узнать. У меня, между прочим, борода и заграничный реглан. Прошел и слышу:

— Володьки Городницкого сын. (Равнодушно.)

— Возмужал.

— Возмужал...»

Узнают ли Севастьянова старожилы родимых мест? Много лет прошло, он совсем от этих мест отбился, считал себя прирожденным москвичом. И кто там остался из старожилков? Пятилетки, переселения, война перетасовали людей. В городе новые улицы, новые парки — город в войну был сильно разрушен, теперь отстроен. Говорят, хорошо отстроен.

Севастьянов ехал туда на день, от поезда до поезда, просто взглянуть... Ехал из санатория, в вагоне были сплошь курортники, возвращающиеся домой: женщины с шоколадными руками, обнаженными до плеч, и с яркими губами на шоколадных лицах; мужчины в светлых рубашках. Их голоса были еще по-курортному оживленными, празднично беззаботными. Мужчины острили; женщины кокетливо вскрикивали... Детишки с выгоревшими на солнце головами томились и капризничали в вагонном бездействии. Багажные полки были забиты новенькими белыми корзинами с фруктами. Пахло яблоками и виноградом. Резвый ветер дул в окна.

Горы кончились. Поезд шел через степь. Севастьянов до вечера простоял в тамбуре, положив локти на опущенную раму окна. Два месяца назад, с самолета, он ничего не увидел: был болен и, взглянув вниз с высоты облаков, закрывал глаза от слабости... Сейчас были убраны хлеба, и обнаженно и величаво лежала земля, отдыхая от праведных трудов,

желто-серое жнивье, окропленное яично-желтой сурепкой, — серый цвет и желтый цвет до горизонта. На откосе за окном, казалось — на расстоянии вытянутой руки, бесплотнотрепыхались сухие бледно-лиловые бессмертники.

Кое-где пахали, черная полоса опоясывала край земли — черное море, маленький трактор бороздил черное море. Потом заполняла все видимое пространство бурая отава, по отаве паслись пестрые коровы. Седой чабан в соломенной шляпе сидел на насыпи, свесив босые старые ноги, и пил молоко из бутылки. В другом месте пасла стадо девушка городского вида, она медленно шла с хворостиной в руке и читала книгу, на ее склоненной шее, в вырезе платья, обрисовывались позвонки, оборка широкой юбки вилась вокруг колен.

Круглыми комочками дыма попыхивала даль, мимоходом в вагонное окно влетело тархтенье молотилки, три такта: та-та-та.

Станица, беленые хаты, колодец на улице. Женщина, скалясь от солнца из-под белого платка, крутила колодезный ворот и глядела на поезд. И так же знойно скалился, глядя из-под ладони, маленький мальчик, стоящий возле женщины. Тяжелое ведро медленно и прямо подымалось из колодца, над дверями хат прибиты гирлянды лука и связки перца, красного как огонь.

Станции — огнедышащие острова: жгучая земля в мазуте и штыбе, сверкание рельсов и скрежет железа, элеваторы, паровозы, пакгаузы, грузы... И снова поезд бежал через простор, обдуваемый ветром, степная дорога, добела испепеленная зноем, бежала рядом с полотном, серая тучка пыли катилась по дороге, а перед тучкой грузовик, нагруженный мешками. И то курган замыкал распахнутую в окне картину, то высокая скирда. И скирды были задумчивы и вечны, как курганы.

На остановках Севастьянов выходил, смотрел на новые вокзальчики легкой павильонной конструкции, они были современной и чище прежних станционных зданий. Покупал помидоры, арбузы, вареные кукурузные початки в детстве все это было вкусней. В общем, он отнесся к родной своей степи с родственным вниманием, но без умиления — ведь какие пространства исколесил за эти годы, в каких краях не побывал. Так же кружили и плыли навстречу иные просторы. Там тоже насыпи и бессмертники на насыпях. И мягкая южная речь с придыханиями и неправильностями, от которых в свое время отучался в Москве, — эта речь звучит и под другими широтами...

Поезд приходил в\*\*\* утром. Севастьянов встал раньше всех не из чувствительных побуждений, просто он не любил суеты и сутолоки, которые бывают перед приездом в большой город.

Вагон спал, розовое небо светило в окна справа. На некоторых подушках лежало по две головы, женская и детская, голова ребенка льнула к материнскому плечу. Темные руки выделялись на белых простынях. На верхней полке парень с голой бронзовой спиной безмятежно храпел, лежа на животе и повернув вбок счастливое лицо. Севастьянов не торопясь, без помехи умылся, надел свежую рубашку, убрал в чемодан дорожные вещи.

— Не желаете чаю? — тихим голосом спросил, заглянув к нему, проводник... Со стаканом в руке Севастьянов вышел в тамбур к своему окну, и в этот момент поезд приостановился у разъезда. Разъезд как разъезд, желтый домишко, капуста и тыквы на грядках, белье на веревке. Безымянный разъезд в степи, остановка на полминуты, но Севастьянова будто окликнул кто: «Эй, посмотри, не узнаешь разве?», он вздрогнул и увидел за окном себя, молодого, шагающего, улыбаясь, к поезду, с волосами, раскиданными ветерком...

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала — каждая спаленная былинка, доживающая лето, держала свой сияющий дрожащий алмаз, а капустные листья в маленьком огороде были усыпаны частыми сизыми каплями. И Севастьянов

вспомнил точно такое алмазное утро, солнце так же играло, лежа низко, и степь переливалась — но она была зеленая! Далеко-далеко то утро, там теснятся юные лица сверстников, звучат голоса, — там он всходит по ступенькам железной лестницы, ступеньки громяют как гром небесный, — там он пишет свои первые строчки и изображает на карнавале какого-то лорда...

Было утро, степь переливалась, он шел по степи, вот этот самый Севастьянов, что стоит сейчас тут в вагонном тамбуре со стаканом чая в руках. Тогда эти руки были розовые и юношеские, с гибкими пальцами и запястьями как из железа, и он ими беспечно размахивал на ходу. Он шел по степи, трава была густая, холодная, — а при чем тут разъезд, стой! Разве был разъезд? Значит, был, если запомнился навеки. Был разъезд, было утро, Севастьянов шел по алмазам и любил, так любил, что даже воспоминание об этой любви обожгло ему глаза. Он любил невероятно и небывало, а штаны у него до колен были мокрые от росы.

2

Это какого ж лорда он представлял, Керзона, что ли? Или Чемберлена, с Чемберленом у нас тоже были счеты, даже на спичечных коробках, помнится, было напечатано: «Наш ответ Чемберлену».

Во всяком случае, Севастьянов был на карнавале в цилиндре. Стоял на грузовике, рядом кулак с бородой, поп с бородой, раввин с бородой и кто-то еще в цилиндре — Ллойд Джордж?.. На другом грузовике ребята были загримированы под китайцев, индусов, негров: Интернационал.

Они продвигались над теснотой людских голов, среди знамен алых, малиновых и густо-вишневых. (Тяжелый бархат цвета черной вишни. Ведь как бедны были в те годы, а самый слабенький заводик выносил знамя из шелка или бархата, кумач шел только на лозунги да на косынки женщинам...) Знамена, оркестры и хоры обгоняли едущих. Каждый оркестр играл свое, каждый хор пел свое, песня наплывала на песню и марш на марш. Иногда это все останавливалось: когда впереди где-то образовывался затор; и грузовики стояли затертые; а потом опять все медленно текло — красное, золотое, медное, скопление людей и музыки — вдоль Коммунистической. Во время остановок девчата в украинских костюмах, размахивая лентами, плясали на мостовой казачка и шамиля.

А какая-то дивчина стояла на крыше университетского здания — пять этажей — на самом краю. Крыша была покатая, держаться не за что. Но каждую демонстрацию стояла там дивчина, первого мая и седьмого ноября, то в светлом платье, то в пальто, по сезону. Она демонстрировала свое бесстрашие. Показывая на нее, говорили: «Вон она опять». Жутковато было, как она стоит на самом краешке покато́й крыши, ничем не защищенная от смертельной высоты. Ее стриженные волосы трепал ветер.

Севастьянов раскланивался, поднимая цилиндр, и кричал: «гау ду ю ду» и «ол райт» — больше он по-английски не знал ничего. Поп крестил народ. Кулак гримасничал. Каждый с усердием нес свою агитационную службу.

Знакомые ребята, узнавая их, кричали: «Ванька Яковенко, здорово! Ленька Эгерштром, Шурка Севастьянов, здорово!» «Здорово!» — отвечал Севастьянов, забывая, что он лорд. Выкрикивались революционные лозунги он кричал «ура» со всеми.

В одну весну были три пасхи: еврейская, русская и комсомольская.

На еврейскую целой оравой нагрянули к Семке Городницкому. Семка рад был подкормить товарищей; и в то же время страдал, что у него, безбожника, в доме пасхальная еда на столе. Все в этом доме вызывало его протест и возмущение, и прежде всего отец. Старик Городницкий в крахмальной манишке сидел на диване и хвастал. Семке хотелось, чтобы ребята побыстрее наелись и ушли, и он, Семка, с ними. Щурясь от стыда, он предлагал басом: «Пошли пройтись». Но старик Городницкий вцепился в них, мальчишек, не хотел их отпускать, пока они не выслушают его рассказов об успехах Ильи, о талантах Ильи, о блестящем будущем Ильи.

— Вы читали его статью в «Известиях»? Чтобы написать такую большую статью, надо разбираться в вопросе, ха-ха? Говорят, такому-то и такому-то понравилась статья. Теперь он пишет книгу. Ему дали отпуск, чтобы он написал книгу. Неограниченный отпуск, вам понятно? На полгода, на год, пожалуйста. А со здоровьем неважно, катар желудка еще с тюрьмы и головные боли, и он же не бережется, ему предлагают Кисловодск и что хотите, а он сидит в Москве и пишет книгу!

Выцветшие, навывате, глаза старика Городницкого наливались слезами и кровью, когда он хвастал Ильей, своим старшим сыном. При белых он кричал, что знать не знает этого выродка, пусть издохнет в кутузке. Сейчас говорил:

— У нас в роду были коммерсанты, музыканты, сапожники, теперь бог даст, будет большой политический деятель. Выпьем за него! Мы еще о нем услышим!

Он жаждал услышать скорей, его белые руки в коричневых крапинках вздрагивали от нетерпения... Дама с черными усами и громадным бюстом, на котором среди волнующихся оборок вздымался и опадал брильянтовый якорь, хлопотала у стола и подкладывала ребятам то фаршированной рыбы, то мяса в сладкой подливке. Перед каждым стояла салфетка, как маленький снежный сугроб. Никто из ребят не притронулся к этим голубоватым блестящим холмикам. Ножи и вилки были громоздкие, тяжелые, с вензелями... Семка яростно щурился, ничего не ел, и его горбоносое длинное лицо, искаженное отвращением, говорило: «Я не выбирал себе отца. Я не фаршировал рыбу. Эта тетка с усами и брильянтами не имеет ко мне отношения. И вообще я повешусь». Но ребятам интересно было послушать об Илье, их увлекала эта биография, такая молодая и такая бурная, полная дерзости и перемен, они примеряли эту судьбу на себя. Севастьянов думал: Илье повезло в том смысле, что он раньше родился. Родись я пораньше года на три-четыре, я тоже участвовал бы в гражданской войне, во всех этих событиях. Но ведь это начало, думал он. А угнетенный Китай, а немецкий пролетариат... Понадобимся и мы.

Пока же они мастерили богов для публичного сожжения. Наперерез наступающей православной пасхе они подводили, как мину, свою комсомольскую пасху. Семка Городницкий делал в клубе коммунальщиков доклад: «Существовал ли Христос? Евангельская легенда с точки зрения астральной теории шлиссельбуржца Морозова». Он гордился, что взял такой оригинальный, эффектный материал и что кто-то сорвал афишу и пришлось делать новую. Севастьянов на доклад не пошел, для него вопрос был ясен, а забежал за Зойкой маленькой и Зоей большой, чтобы вместе идти на сожжение.

Он шел за руку с Зойкой маленькой. Ее пальцы угрелись в его руке, лежали, свернувшись уютно. Был расцвет их дружбы, еще ничем не омраченной, доверчивой. Их соединенные руки были спокойны. Так могли бы идти брат и сестра, полные взаимного понимания и доброжелательства. Зоя большая шла впереди, окруженная ребятами Ребята напропалую

острили, толкались, Ленька Эгерштром даже прошелся перед Зоей на руках, благо подморозило. Зоин смех взлетал высоко и нервно. Севастьянов нарочно сдерживал шаг, чтобы с Зойкой маленькой отстать от них немножко: он не одобрял, когда ребята поднимали на улице возню и гам; пускай они влюблены по уши — он находил их поведение дурацким.

В темных улицах, невысоко над землей, плыли пятна разноцветного света; обгоняя друг друга, двигались по направлению к «границе». Это люди шли в церковь и несли фонарики — розовые, желтые, полосатые. Маленьким мальчонкой Севастьянов тоже ходил с покойной матерью к заутрене, неся за проволочную дужку бумажный фонарик. Фонарик складывался и растягивался, как гармонь. На дне у него была вставлена свечка, лепесток ее огня сквозь отверстие картонной крышки дышал на руку слабым теплом. Воспоминание слабенькое, как это зыбкое дыхание! Севастьянов вырос и шел в компании ребят сжигать богов.

— Даешь с дороги, а ну!.. — закричали сзади, выругавшись. Севастьяновская компания посторонилась. Ее обогнали парни с дубинами. В центре группы несли на носилках огромный, хитроумно склеенный фонарь — в виде замка с башнями, в нем горело много свечей, — должно быть, сообща соорудили... Стуча сапогами и ругаясь, парни с дубинами прошли. Зойка маленькая сказала:

— Вот это фонарь, я понимаю.

Сказала для того, чтобы Севастьянов не подумал, будто ей отвратительно и горько от мерзких слов, которые прокричали, проходя, парни с дубинами. «Ничуть не горько, подумаешь, — хотела она сказать своим замечанием, — я даже внимания не обратила — рассматривала фонарь». Она шла всюду, где можно видеть людей и события; но все грубое ее ранило, и она стыдилась своих ран, она хотела быть неуязвимой.

Открылся черный простор «границы» — весь в цветных созвездьях, тепло и туманно толпящихся у самой земли, кружащих над нею, перемещающихся и сталкивающихся.

— Красиво все-таки, — сказала Зоя большая, оглянувшись на маленькую.

— Спрашиваешь! — воскликнул Ленька Эгерштром, выслуживаясь. Конечно, красиво!

Но Зойка маленькая сказала своим холодноватым, ясным голосом:

— Смотря что считать красивым. Если видеть красоту в религиозном дурмане...

И даже самые влюбленные, даже Спирька Савчук, который, по Ленькиному уверению, от любви к большой Зое заболел малярией, — они все присоединились к Зойке маленькой: на черта красота, если от нее вред трудящимся. Каленым железом выжигать такую красоту, которая опиум для народа! Тем более, тут и красоты никакой нет: идут, несут паршивенькие фонарики, нашли чем восхищаться. То ли дело была иллюминация в пятилетие Октября, говорили ребята, когда вдоль чуть ли не всей Коммунистической горели гирляндами лампочки, а на учреждениях горели красные звезды...

Потом они жгли Христа, и Иегову, и еще всяких больших соломенных богов с ярко размалеванными лицами. Костер был разведен на широком перекрестке Коммунистической и Мариупольского, на скрещении трамвайных путей. Движение прекратилось. Длинные цепочки трамвайных вагонов выстроились с четырех сторон. Подходил еще вагон и послушно замирал в конце цепочки. Народ усыпал все четыре угла и ближние кварталы, а вокруг костра были комсомольцы, сотни комсомольцев с Югаем во главе.

Боги пылали под звон пасхальных колоколов. Столбы искр летели в городское небо. Свет костра растекался по проводам вверху и по рельсам на земле, пахло дымом. Югай стоял близко к костру, по его лицу проносились тени и сияние от пляшущего огня. Он стоял в своей

кожаной куртке, с кобурой у пояса, и смотрел, как сгорают боги.

Боги сгорели, толпы хлынули прочь от перекрестка, трамваи двинулись, осторожно звеня... Колокола всё били. Севастьянов и Зойка маленькая заглянули еще в молодежный клуб и послушали диспут: «Может ли комсомолец есть куличи». Установили, что не может, а на другой день Севастьянов ел кулич и дома у тети Мани, и у Ваньки Яковенко, и у Зойки маленькой, — во всех домах справляли пасху, если не родители, так бабушки и дедушки... Севастьянов не был двурушником, просто ему всегда хотелось есть, а вкусная еда была редкостью в его жизни.

4

Дама с черными усами бросила свой якорь под кровом старика Городницкого. Сразу после пасхи она туда въехала, и старик сходил с ней в загс. У них на доме вокруг парадной двери были навешаны эмалевые дощечки: «Зубной врач», «Член коллегии защитников», «Сифилис, венерические здесь, 2-й этаж». К этому дама прибавила большую поперечную вывеску: «Мережка и зигзаг». В квартиру стали ходить заказчицы. Это было последней каплей в чаше идейных разногласий, существовавших между Семкой и его отцом. Семка взбунтовался и ушел из дому.

Старик Городницкий был видный, откормленный, благодушный, с холеными руками. Он носил гетры и золотые запонки на манжетах. До революции он был коммивояжером, ездил по России с образчиками парфюмерных товаров. Потом спекулировал иностранной валютой. В двадцатом году у него сделали обыск, забрали доллары и его самого забрали в Чека, но скоро выпустили. Теперь он ходил по магазинам и конторам и предлагал свои услуги, но биржа труда не допускала его на работу, потому что он был чуждый элемент.

А Семка был черный, как галчонок, горбоносый, лохматый, сутулый и такой узкоплечий, что когда он держал руки в карманах, то казалось, что плеч у него нет вовсе. Было известно, что он шляпа, хотя и может сделать доклад со ссылками на Маркса и Энгельса и читает наизусть гибель стихов. Читал он по преимуществу Маяковского и — чтобы исполнение наилучшим образом соответствовало исполняемому — путем особых упражнений выработал себе глубокий гулкий бас.

Держа руки в карманах, он вышел на парадное, увешанное эмалевыми дощечками. В спину ему гремел негодующий монолог старика. Верещала дама. Семка сошел с крыльца и рассеянно пошел по Старопочтовой.

Идти ему было некуда. Со всеми родственниками, кроме Ильи, у него были те же разногласия, что и с отцом. Илья не интересовался младшим братом, жил вдалеке своей завидной жизнью, гордость не позволила бы Семке обратиться к нему.

Семка пошел к Югаю, тот сказал:

— Ну правильно, давно бы так. — И обещал помочь в смысле работы и в смысле жилья.

К тому времени и у Севастьянова в семействе стало твориться черт знает что. Дядька Пимен всем испакостил жизнь, тетя Маня, ища на него управы, обила пороги фабкома и женотдела. Севастьянов маленько оттузил дядьку за то, что тот с пьяных глаз вздумал приставать к Нельке. Севастьянов тузил его в уверенности, что делает святое дело, наказывает свинство и охраняет благообразие в семье. Но тетя Маня вдруг обиделась и накричала на него, чтоб не лез не в свои дела, что он обязан дяде ноги мыть, и неужели не видят нахальные его глаза,

что он тут сбоку припеку... Севастьянову окончательно противно стало приходить домой, он сказал Семке:

— Я тоже от своих буду драпать, возьмешь меня вместе жить?

— Только условие, — ответил Семка торжественным басом, — жить по-комсомольски. Никакого мелкобуржуазного обрастания.

Севастьянов пообещал, что обрастания не будет... И вот они вдвоем в комитете у Югая. Севастьянов сидит на углу стола и жует булку — он с работы. Семка курит, отвернувшись с суровым видом. Севастьянов соображает, что Семка тоже голодный, и делит булку на двоих.

— Вы там каким-то совбарышням выдаете ордера... — говорит Югай в телефонную трубку.

Он сидит, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, на нем кепка, сдернутая назад, и добела вытертая кожаная куртка с оборванными пуговицами. В этой куртке он приехал из Москвы, носил ее зимой и летом, невозможно было представить себе Югая в чем-нибудь другом.

Он легко сердился. Глаза становились недобрыми — узкие глаза, словно подпертые широкими скулами. Но держал себя в руках — не сорвется, не закричит. Только челюсти сожмутся и губы начинают двигаться медленно, одеревенело, как с сильного мороза.

— Совбарышням выдаете, — медленно говорит он, плечом прижав трубку к уху, глаза недобрые. — А наш активист живет в обстановке частной мастерской, хороший комсомолец вынужден жить в нэпманской кодле...

Который раз Югай произносит по телефону эти речи, а Семка Городницкий ночует тем временем у ребят, знакомых и незнакомых, — то на полу, то с кем-то на кровати, то в общежитии для ответственных работников, то на стульях в передней коммунальной квартиры, куда он попал впервые в жизни, а как-то Севастьянов крадучись привел его к себе в Балобановку. Все спали в жаркой комнатке, на кровати дядька Пимен с тетей Маней, Нелька на коротком сундучке с приставленным в изножье стулом, в полумраке на Нелькиной голове белели бумажные рожки. Дядька Пимен и тетя Маня храпели, словно состязались, кто громче. Густо, тяжело пахло керосином от стоявшей на столе лампочки с жестяным рефлектором. Огонек лампочки слабо бродил, припадая, по накалившемуся докрасна фитилю — в лампе кончился керосин, но казалось, что огонь томится и шарахается от храпа, гремящего с кровати. Севастьянов постелил на своем месте, между дверью и комодом, задул лампочку, — осторожно шепчась, они с Семкой легли. Утром был скандал, Севастьянов выдержал его стойко...

Но вот в один прекрасный день они шли из жилотдела с ордером, Югай добился своего через губком партии, где Семку знали как антирелигиозного пропагандиста. Ордер был на Семкино имя; Севастьянов положил его в свой карман, боясь, что Семка потеряет.

Шли веселые, и день был веселый — теплынь, голубизна, сияние, наметившиеся бутоны на акации как огуречные семечки. Звеня, прошкандыбал маленький красный трамвай, Севастьянов и Семка на ходу вскочили в прицепку. Это была платформа, открытая с боков; скамьи для пассажиров стояли поперек, а вдоль платформы по обе стороны тянулась подножка, и по ней, придерживаясь за поручни, ловко двигался бочком кондуктор и продавал билеты. За Севастьяновым и Семкой вскочил беспризорный в лохмотьях, спел модную чувствительную песню, где были слова «моя мама шансонетка», прошелся по подножке, небрежно собирая гонорар, под конец небрежно, не глядя, вынул папиросу изо рта у кондуктора, сунул себе в рот и соскочил...

А Севастьянов и Семка приехали к дому, где им предстояло жить. Дом был трехэтажный,



серый, с выступающим облупленным фонарем; большая витрина в нижнем этаже замазана мелом, там шел ремонт, через сколько-то времени там открыли кафе.

Севастьянов и Семка заняли на третьем этаже комнату при кухне. Комната имела такой вид, будто ее обстреляли из пулемета; даже на потолке зияли дыры от гвоздей, вырванных вместе с штукатуркой. Окно выходило во двор, на кирпичную стену, к кирпичной стене черной ломаной линией лепилась железная лестница. Такая же лестница вела к их жилью.

Первую ночь они ночевали на газетах, которые Севастьянов взял в экспедиции. Затем перевезли на новую квартиру свое барахлишко.

5

Нелька помогла Севастьянову собрать вещи и увязать узел. Тетя Маня была довольна и немного обижена.

— Вот теперь будешь говорить, — сказала она, — что мы тебя выжили. А мы разве выживали, да живи, пожалуйста, мешаешь, что ли? Ты не чужой, от родной сестры племянник. Живи и живи.

Дядьки дома не было.

— Хоть покажись нет-нет, — продолжала тетя Маня, обижаясь. — Хоть посмотреть на нас зайти, какие мы. А если надумаю судиться — уж как хочешь, тебя в свидетели позову. Поскольку ты нашу всю антимонию знаешь. Женотдел велит в суд подавать. Обвинять, говорят, делегатку пришлем, поголосистей. Но я еще не решила, — тетя Маня в задумчивости взялась за подбородок, на темной узловатой ее руке было надето серебряное обручальное кольцо. — Не решила, нет. Жалко мне его...

Нелька вышла с Севастьяновым за ворота. Еще не стемнело; в высоком светлом небе стоял месяц-молодик.

— И я уйду тоже, — сказала Нелька, глядя на месяц. — Как позовет кто замуж, так и уйду.

Севастьянов сочувственно встряхнул ее руку. Хотя у них были различные понятия и надежды, сиротство их роднило. Нелька была тети-Маниной крестницей. И так же, как Севастьянова, — сердясь и обижаясь, что все ей садятся на голову, — приютила Нельку тетя Маня. А благодарность к тете Мане, вместе с раскаянием в том, что это чувство пришло так поздно, Севастьянов ощутил через много лет, когда она умерла. Дядька Пимен умер раньше нее, Севастьянов и Нелька были далеко, хоронила тетю Маню табачная фабрика, на которой она проработала всю свою жизнь, с девчоночьих лет.

В тот вечер, прощаясь с Нелькой у ворот, Севастьянов чувствовал только облегчение. Его душа тянулась к другим людям, в другие места. Он не любил Балобановку.

Это был поселок за городом, на голом, без деревца, без кустика, низком месте. Стоило пройти дождю, как вся местность надолго погружалась в грязь: казалось, влаги в почве было достаточно, но почему-то не росло там ничто долговечное, только мальвы, да ноготки, да крученый паныч цвели кое-где по дворам.

В ничем не прикрытых дворах орали петухи, крик их разносился над степью, издали с дороги видны были их развевавшиеся хвосты.

Домишки мазанные, побеленные мелом... Дожди смывали мел, на стенах проступали бурые подтеки глины. Крыши в разноцветных заплатках... Улиц не было: как стали домишки, так и стояли — кто куда лицом, все врозь. Вытяжные трубы нужников торчали, как скворешни.

Вокруг поселка расходились во все стороны широкие дороги, разлинованные колеями. По этим дорогам полгубернии съезжалось в город на базар. Оплетенная дорогами, как петлями, лежала Балобановка. Ничего из нее не было видно, кроме дорог и возов на дорогах.

Впрочем, если оглядеться, то еще кое-что. С одной стороны рыжели карьеры, где брали глину для кирпичного завода. С другой — зеленела на горизонте небольшая роща, пристанище бездомной любви. С третьей — в балочке курился дым из труб, там подобный же существовал поселок, по названию Дикий хутор.

А с четвертой стороны — какая-то вышка, не понять к чему: будто шагал к поселку урод-великан и все не мог дошагать.

Здесь жили заводские рабочие, сапожники, извозчики, люди без занятий. Гнали самогон и, напившись, резались ножами. На свадьбах гуляли по три дня, а то и по неделе. Родившихся детей годами не регистрировали. В праздник Покрова Балобановка выходила на кулачный бой с Диким хутором.

Свои богачи были здесь, свои лекари, гадалки, свои знаменитости, например — силач Егоров, извозчик, первый победитель в кулачных боях; говорили, что он уложил насмерть шестерых человек...

Вскинув на плечо легкий узел, Севастьянов уходил дорогой, разлинованной грубыми бороздами. Темнело, месяц наливался золотом. В бороздах блестела грязь. Идти надо было обочиной, по узкой вихляющей протопке, проложенной ногами пешеходов, Севастьянов знал эту протопку наизусть. Коротенькая сквозная тень шагала с ним рядом... Отойдя, оглянулся. Еще раз увидел кривые домишки, разводы дорог, черными реками текущих за оком, шагающего урода под острой скобкой месяца — всю нищую Балобановку, страну его детства.

6

В то время он уже с полгода работал в отделении «Серпа и молота».

Устроил его туда комсомол, а до этого Севастьянов все как-то не мог нигде утвердиться прочно.

Он ходил на вокзал — от Балобановки черт знает какая даль — и предлагал свои услуги в качестве носильщика. Он был высок и силен; но именно поэтому мешочники нанимали его неохотно, они боялись, что он удерет с их мешками, предпочитали пожилых носильщиков, с одышкой, или пацанов поменьше и послабей... Все-таки свой хлеб он зарабатывал, а иногда и домой приносил хлеба. Потом поступил на картонажную фабрику.

Там работали девчата, работа была легкая — женское рукоделье. Севастьянову тягостно было одному сидеть среди девчат и заниматься женским рукодельем. С первого дня он томился — куда бы деться; удерживало сознание, что надо же иметь регулярный заработок, купить теплую куртку, пройти в профсоюз... Коллектив был маленький, отсталый. Клея коробки, девчата стрекотали о Гарри Пиле и ухажорах, их оскорбляло, что Севастьянов не зажигается их интересами и не отвечает на заигрыванья. Они его невзлюбили, дразнили

монахом и интеллигентом, а когда им это надоело, перестали его замечать. Перестав замечать, разговаривали в его присутствии о своих девичьих делах, о которых парню слушать не положено, и преспокойно поднимали юбки, чтобы поправить чулок или показать товаркам кружево на белье, — не из бесстыдства, а потому, что Севастьянов не существовал для них, как бы и не присутствовал вовсе. Едва представилась возможность уйти, он ушел без размышлений, не успев оформить в профсоюзе.

В политпросвете он был курьером. Тоже малоподходящее дело для здорового парня — носить бумажки по городу. Скоро его сократили. Он опять отправился на вокзал. Но профессионалы-носильщики уже сорганизовались и выставили на всех платформах свои пикеты в фартуках и бляхах, урвать заработок стало трудно. Севастьянов разгружал на пристани угольные баржи, помогал Егорову, соседу, ремонтировать конюшню, а главным образом околачивался на бирже труда, оттуда иногда посылали на временную работу.

Газета «Серп и молот» сперва печаталась на толстой грифельно-серой оберточной бумаге и не продавалась, а расклеивалась на домах, заборах, афишных тумбах. Была она маленькая, вроде декрета или воззвания. Постепенно росла. Стала печататься на белой бумаге. Стала четырехстраничной. Ее стали продавать за деньги. Предложили на нее подписываться. Но подписчиков было мало. Рабочие еще не привыкли выписывать газету. Кто хотел — покупал на улице у газетчика или прочитывал в красном уголке.

Чтобы приблизиться к рабочему читателю, редакция открыла отделения во всех районах города. Севастьянов работал в отделении Пролетарского района. Оно помещалось на Садовой, неподалеку от площади, где стоял памятник Карлу Марксу. Площадь была мощена булыжником, крупным и расшатанным, как старые зубы. На нее выходил небольшой общественный сад с усеянными подсолнечной шелухой дорожками и раковиной для оркестра. У входа в сад жгучий брюнет грузин торговал с лотка маковниками, орехами в сахаре, белой тягучей халвой, нарезанной кусочками.

Слева от отделения «Серпа и молота» находилось молитвенное собрание христиан-баптистов. Баптисты собирались по вечерам и пели хором. В теплое время они пели при открытых окнах...

Отделение «Серпа и молота» занимало длинную узкую комнату, зажатую между баптистской молельней и парикмахерской. Входили прямо с улицы. Единственное окно давало мало света, его заслонял фанерный щит с призывом подписываться на «Серп и молот».

Севастьянов пришел сюда хозяином. Нашел пустую отсыревшую комнату в пыли и паутине, на полу была просыпана земля. Маленькие сени позади комнаты заставлены битыми цветочными горшками. Видимо, тут был цветочный магазин.

Севастьянов хотел выбросить горшки в мусорный ящик во дворе, но из квартир повыходили жильцы и стали кричать, что он весь ящик забьет своей дрянью. Пришлось нанимать подводу и вывозить горшки на свалку.

Редакция прислала уборщицу, та все помыла и побелила, и сразу в отделении посветлело. Привезли стол и два стула — один для Севастьянова, другой для посетителей. Поставили печку-буржуйку с коленчатой трубой, труба выходила в окно над рекламным щитом. Но топить, кроме старых газет, было нечем, и Севастьянов до теплых дней сидел за столом в ватной куртке и шапке.

Особенно-то сидеть не приходилось. С утра он бежал на заводы: вербовал подписчиков, принимал от рабкоров заметки. Вечером забирал из экспедиции газету и вез в отделение раздавать подписчикам. Горсовет сделал возле редакции трамвайную остановку. Вагоновожатый ждал терпеливо, пока Севастьянов погрузится. И как же гордо ехал Севастьянов со своим грузом на передней площадке, словно депутат. Каким он себя

чувствовал значительным, нужным человеком. Как приятно было вытащить газету из пачки и подарить вагонновожатому... Контролеры Севастьянова не беспокоили, они его знали в лицо. А на месте выгрузки, у площади с памятником Марксу, уже дожидаются, бывало, подписчики, помогут и выгрузить, и снести газету в отделение. Севастьянов отмыкал всякий замок и входил первым. Приходили индивидуальные подписчики и уполномоченные от предприятий — получать на весь коллектив. Они звали Севастьянова Шуркой. Говорили: «Ты там скажи в редакции — где же наши заметки, почему о нашем заводе давно ничего нет».

Кроме всех этих дел, нужно было убирать в отделении, уборщица полагалась только в экстренных случаях. Севастьянов чистил пол скребком, мел веником, поливал водой из лейки. Лейку ссужал сосед, парикмахер Жан, Иван Яковлевич. И улицу подметал Севастьянов, справа от него работал метлой Иван Яковлевич, слева — сторож из баптистского молитвенного дома. Иван Яковлевич симпатизировал Севастьянову и стриг его бесплатно, только за одеколон брал, когда Севастьянову приходила фантазия подушиться.

Все, что требовалось, Севастьянов делал с азартом. Потому что это была работа для «Серпа и молота».

«Сerp и молот!» Мир дивный, могущественный! Держава печати! Вот только сейчас фельетонист Вадим Железный в роскошной новенькой скрипящей кожанке сидел у залитого чернилами стола и писал — писал и зачеркивал, комкал и швырял в корзину... и вот уже несут его листки вниз в типографию; и важный наборщик в черном халате, в очках с серебряной оправой, положив перед собой эти листки, набирает в верстатку свинцовые букашки, в свинцовые рядки строит сочинение фельетониста и ловко связывает шпагатом; и печатная машина, жужжа, хлопает плоским крылом, и стопы влажных газет растут на обшарпанном прилавке экспедиции, и газетчики выбегают на вечернюю улицу, крича:

— «Сerp и молот» на завтра, речь Чичерина, забастовка докеров в Англии, новый фельетон Вадима Железного!

Люди читают фельетон — Севастьянов наблюдает: почти все, развернув газету, прежде всего ищут подвал с подписью Железного. То разоблачит кого-нибудь Железный, то воспоет свободный труд, а то напишет что-нибудь проникновенное, воспитательное, вроде того, например, что к трудящейся женщине, товарищу по борьбе, надо относиться чутко, — такие вещи особенно охотно читали и много о них говорили... Понятно, что Железный гордится; купил себе наркомовскую кожанку и портфель и весь скрипит на ходу. И в редакцию является с таким видом, словно от него зависит судьба республики.

В редакции до того не обставлено и пустынно, до того ничего нет, кроме голых столов и рваных плакатов, что шаги в высоких комнатах эхом отражаются от стен. Столы не письменные — простые, вроде кухонных, с одним выдвижным ящиком; письменные были только у Дробышева и Акопяна... О голые столы, залитые чернилами! Они уже поджидали Севастьянова, когда он с почтением посматривал на них, проходя по коридору мимо открытых дверей.

Благодарность простым просторным столам, похожим на кухонные, за ними так хорошо сидеть и писать, они куда удобней массивных, самодовольных, самодовлеющих письменных столов, о тумбы которых стучаются колени. Благодарная память стеклянной чернильнице, квадратной и плоской, с крышкой, похожей на кепку. И деревянной ручке, изгрызенной на конце (вечными перьями писали тогда миллионеры в иностранных фильмах со светловолосой, светлоглазой кинозвездой Осси Освальд...

А слово «фильм», между прочим, было женского рода, говорили: «приключенческая фильма»...).

Дробышев мелькал в коридоре и скрывался у себя в кабинете. На «здравствуйте»

Севастьянова иногда отвечал, иногда нет; может быть, и не знал, что за парень попадается навстречу, что он тут делает. Дробышев был член бюро губкома, пропадал на заседаниях и конференциях, уезжал в Москву, а в редакции все делал Акопян, черноглазый, румяный и спокойный, с приятным голосом, он приходил раньше всех и сидел до поздней ночи — в правой руке перо, в левой папироса.

Еще Залесский был в редакции, старый журналист, работавший во многих газетах дореволюционной России, столичных и провинциальных, много живший за границей, все на свете видевший и со всеми знакомый. Его спрашивали: «Эдуард Александрович, вы Аверченку знали?» «Конечно, знал». «Эдуард Александрович, а вы Пуанкаре видели?» «Брал интервью два раза: в Париже и в Петербурге»... У Залесского была седеющая курчавая голова, пышные седеющие усы и пенсне на тесемке; под усами — мясистые, сочные губы. Ходил он в широких, вроде распашонок, толстовках, с расстегнутым на белой шее воротом, — страдал астмой и не выносил тесной одежды. Редакция получила его в наследство от белогвардейской газеты. Когда белые побежали, он остался. В «Серпе и молоте» он был театральным рецензентом, помогал Акопяну править материал и посвящал молодежь в тайны — по большей части уже непригодные — репортерского ремесла.

В комнатке возле цинкографии сидел Коля Игумнов, красавец с белокурой гривой. Насвистывая арии из оперетт, он рисовал карикатуры и ретушировал фотографии. Они с Севастьяновым переглядывались, оба рослые и молодые, Коля был постарше года на два. Но его баловали, он был полноправным участником редакционной жизни, к нему в комнатку заходили поболтать о новостях, над ним любовно подшучивали, как над милым, очаровательным, забавным ребенком, — а к Севастьянову никто никогда не относился как к очаровательному ребенку...

И разные люди были там: сотрудники местной жизни звонили по телефону, собирая хронику, миловидные машинистки стучали на машинках, приходили рабкоры и присаживались написать заметку. И казалось Севастьянову, что в редакции не прекращается блестящий разговор: рассказывали новости, анекдоты, всевозможные интересные случаи; смеялись, спорили. Работа здесь была словно бы не обязанностью, а удовольствием, — прекрасным жизненным процессом была здесь работа, естественным, как дыхание.

В общем, он полюбил газету навеки, роднее всех запахов стал ему запах типографской краски, самым важным зданием на земном шаре стал дом, в котором помещалась редакция.

По вечерам у себя в отделении, покончив с раздачей газет, он запирался на задвижку и писал фельетоны, подражая Вадиму Железному. Он это делал втайне от всех. Чистая бумага была перед ним и плоская квадратная чернильница, и низко на шнуре электрическая лампочка, прикрытая вместо абажура газетным листом.

Буржуйка стыла, и стыли руки.

Первой коченела левая рука — бездействующая. Он прятал ее в карман, чтобы согреть.

Но это было неудобно, бумага на столе начинала ерзать. Он придерживал ее грудью.

Очень ярко горела лампочка по ночам. Вечером накал был слабый, красный; ночью она сияла, как белая звезда.

Когда начинали коченеть ноги, он вставал, прохаживался по узкой голой комнате, освещенной одинокой сияющей звездой под пожелтелой газетой.

Часов у него не было. Радио тогда не было. По совершенной тишине он обнаруживал, что уже глубокая ночь и нет смысла идти домой в Балобановку.

Это было досадно, потому что дома тепло и на плите оставлен для него суп, или вареная картошка, или каша.

И это было большой удачей, потому что оставалось одно — продолжать излюбленное занятие, ни о чем не думая.

Случалось — то, что он писал, нравилось ему. Нравилось до восторженной спазмы в горле, которую он поспешно и стыдливо заглатывал. Но показать свое писание он никому не решался.

7

Так великолепно он проработал несколько месяцев, и привык считать себя руководителем отделения, и совсем забыл то, что ему сказали, когда он поступал, — что в отделении будут два работника.

Весна подошла, солнышко грело, и появился Кушля.

Он поджидал Севастьянова на улице. Сидел на выступе оконной амбразуры, как на завалинке, грыз семечки и сплевывал шелуху на тротуар. На нем была шинель и буденовка со звездой. Сзади в окне был щит с призывом подписываться на «Серп и молот». Кушлина голова вращалась в плакат, как нарисованная.

При виде Севастьянова, отпирающего висячий замок на двери, Кушля поднялся и смахнул с себя подсолнечную шелуху. Правое ухо было у него изуродованное — без мочки. На длинном измятом худом лице ярко голубели глаза. Шинель от старости приняла коричневый цвет, сукно стало как грубый холст, по подолу висела бахрама.

— Вы ко мне? — спросил Севастьянов.

— Ага, к тебе, — ответил Кушля и вошел вслед за Севастьяновым.

На них пахло погребом, — в отделении было холоднее, чем на улице.

— Ну, дай закурить, — сказал Кушля.

Севастьянов дал папиросу. Кушля сел и осмотрелся.

— Ты тут спишь, нет? — спросил он.

— Иногда сплю.

— На чем же ты спишь?

— На столе сплю.

— Тебе ж небось коротко.

— Ничего.

— Жестко. Я на столе не могу, у меня грудь, понимаешь, простреленная. Мне, понимаешь, надо мягко. Хоть сена подложить, но чтоб мягко... Не топишь, это плохо.

— Иногда топлю.

— Надо топить. У меня испанка была, и она, понимаешь, окончательно мне грудь испортила. Мне в нетопленном помещении — гроб.

— Да угля нет, — сказал Севастьянов, все еще думая, что Кушля зашел по рабкоровским или подписным делам. Разговор Кушли его не удивлял: среди посетителей нередко попадались разговорчивые люди, склонные рассказывать о своих болезнях и ранах.

— Ну, что значит угля нет. А ты достань.

— Вы что хотите? — спросил Севастьянов.

— Беседовать с тобой, брат, хочу, — внушительно ответил Кушля, сдвинув брови. — Хочу, чтобы ты меня ввел, понимаешь, в курс, вот чего я хочу.

— А вы кто?

— Твое начальство. Работать со мной будешь. Рад?

— Вас редакция назначила?

— А то с улицы пришел... Из политотдела округа послали. Дробышев сперва не разобрался. Они с Акопяном меня думали в экспедицию. Ну, потом разобрались, что мне нужно ответственную должность. По воинским моим трудам. Поскольку я воевал за победу революции. Я за советскую власть воевал, понимаешь, когда ты еще пешком под стол ходил! — воскликнул Кушля с внезапным волнением, и его ярко-голубые глаза вдруг заблестели слезами.

Он вскочил, прошелся в конец комнаты и так же враз успокоился.

— Ишь ты, прямо отдельная квартира, — сказал он, приоткрывая заднюю дверь и выглядывая в сени. — Вот тут отгородить, и будет у меня квартира с парадным ходом и с черным, верно?

— Вы разве и жить будете здесь? — спросил Севастьянов.

— А что? Топить только придется. Я тебе говорил — мне в нетопленной хате нельзя.

— Может быть, — сказал Севастьянов, — вам дадут комнату как демобилизованному?

Кушля засмеялся тихо.

— Да ну, я уж тут. Уж лучше без комнаты.

— Как лучше без комнаты?! — удивился Севастьянов. Он жил тогда еще в Балобановке, собственная комната была для него волшебной, несбыточной мечтой.

Кушля смеялся от души застенчивым симпатичным смехом.

— Не надо комнаты, дорогой товарищ, верно говорю. Пока нет комнаты еще туда-сюда, дышать можно. А будет комната — сейчас же мне, понимаешь, как.

— Как хотите, конечно, — сказал Севастьянов, ничего не поняв.

В тот же вечер пришла женщина в шинели и красной полинялой косынке. Войдя, она подошла к Кушле, зачерпнула из кармана горсть семечек и пересыпала в Кушлину протянутую руку. Они ничего друг другу не сказали. Женщина села на подоконник и сидела, грызя семечки, пока Севастьянов выдавал газету подписчикам, а Кушля наблюдал за выдачей, с командирским видом сидя за севастьяновским столом. Она была губастая, тяжелый серый

взгляд исподлобья; стриженные волосы блеклыми прядями свисали из-под косынки на воротник. Когда подписчики ушли, она сказала:

— Как же тут жить, народ до ночи толкается, все равно что на барахолке жить.

Кушля запел задумчиво: «Эх, шарабан мой», а женщина закрыла лицо рукавом шинели и зарыдала грубыми злыми рыданиями. «А ну их», — подумал Севастьянов и ушел с тоскливым ощущением утраты, несправедливости, какой-то раздражающей чепухи, вторгшейся в его бытие. Он привязался к своему рабочему месту! А теперь там будет распоряжаться другой человек. Разве он, Севастьянов, плохо работал, что над ним посадили начальника? В редакции и в экспедиции ему говорили, что делать, и он со всем справлялся. И где же он будет теперь писать, и зачем в маленьком отделении начальник?

Утром он пришел на работу рано — Кушля был уже там. И женщина была, но не вчерашняя, а другая, толстая блондинка в платье с цветочками, с толстыми голыми руками. Толщина не мешала ей двигаться проворно, даже резво. Они с Кушлей вдвоем собирали и устанавливали старую железную кровать. Заржавленная и дребезжащая, кровать эта состояла из гнутых железных полос и прутьев и ни за что не хотела стать на все четыре ножки.

— Вот он пришел, — сказал Кушля при виде Севастьянова и выпустил кровать из рук, — он тебе поможет. Помоги ей, дорогой товарищ. Кровать она мне добыла.

— Все тебе добуду, — сказала женщина, хлопоча возле кровати, — только Ксаньку гони, чтобы я тут не видела Ксаньку!

— Чудачка, — сказал Кушля, — как же я ее отсюда прогоню? Тут учреждение, кто хочет, тот и ходит.

— Ну, так любить ее не смей! — сказала женщина и стукнула кроватью об пол.

— Тихо, тихо! — сказал Кушля. — Делай знай свое дело. Тут не базар. Про фанеру не забудь, отгородиться надо первым долгом, а то некультурно.

— Будет тебе фанера! — крикнула женщина, грохоча железом. — Только не люби Ксаньку!

Она приволокла фанеру и с помощью Севастьянова огородила угол Кушле под жилье. Приволокла матрац и подушку. И примус. И оклеила перегородку газетами. Это была кипучая баба, пышущая жаром, как печка. И печку стали топить благодаря ей, она приносила в ведерке уголь и штыб.

Кушля принимал ее дары с спокойным достоинством. Он вообще все принимал от людей как должное. Он отдал им больше. С этим гордым сознанием ходил он по земле в своей куцей шинели — запанибрата с кем хочешь... Севастьянов привез ему из редакции стол. Над столом повесили телефон, громоздкий желтый ящик того времени, с ручкой как у мясорубки. А из типографии Кушля, удовлетворенный, привез и повесил рядом с телефоном печатную табличку: «Заведующий».

Он сидел под табличкой, курил и благосклонно смотрел, как Севастьянов приходит и уходит, составляет ведомости, притаскивает газету, метет пол, словом, делает все, что делал раньше. Кушля не делал ничего. Он был убежден, что заведующему ничего не подобает делать, кроме как разговаривать по телефону и иногда наведываться к высшему начальству в редакцию.

Севастьянова устраивало, что Кушля ни во что не вмешивается. Это примиряло его с пришельцем, они бы даже могли стать приятелями, но Севастьянова отталкивали от Кушли женщины. Они появлялись, то одна, то другая, и быстрым шепотом спрашивали у



Севастьянова: «Ксанька приходила?», «Лизка приходила?» — а если им случалось сталкиваться, они устраивали безобразные сцены. Севастьянов чувствовал брезгливость к их нечистой суете, к этим полным ненависти шепотам, притворным рыданиям, выслеживанию, внезапным взвизгам: «Подлец!» Ужасно не шла голубоглазому, хворому, степенному Кушле такая прыткость в этих делах. Особенно непонятен был, по скоропалительности, роман с толстухой Лизой: Кушля познакомился с ней за день до своего поступления в «Серп и молот».

— Полюбила, понимаешь, — сказал он Севастьянову. — А с Ксаней мы с двадцатого года, она у нас была милосердная сестра. Любят обе прямо сказать тебе не могу до чего! Ты теперь понял, почему мне нельзя комнату: они поставят на повестку дня вопрос о браке...

Он понизил голос.

— А сказать, дорогой товарищ, откровенно, — я б из них ни на одной не хотел жениться! И не знаю почему, ведь бабы, понимаешь, неплохие, хорошие бабы...

Как-то вечером отворилась дверь и в отделение вошли Зойка маленькая и Зоя большая. Они и раньше заходили проведать Севастьянова на работе и не поняли, почему в этот раз он потемнел, увидя их, и отвечал им неласково. Удивившись, они смиренно присели рядышком на низком подоконнике, где час назад сидела Ксаня. Севастьянов, нахмуренный и отчужденный, перекидывал с места на место газеты и папки — показывал, что занят по горло. Кушля курил и смотрел ярко-голубыми глазами. Севастьянов вдруг рванулся:

— Ну-ка, девчата, на минутку.

Он вывел их на улицу. Они, привыкшие командовать парнями, вышли как овечки. Он сказал им сурово и непреклонно, чтобы они больше не приходили в отделение.

— Почему? — спросили они.

— Ну, есть причины. Это неудобно.

Зои переглянулись длинным взглядом. По его тревоге и ожесточению они угадали, что в этой выходке нет ничего оскорбительного для них, скорей напротив. Зойка маленькая угадала и взглядом сообщила Зое большой. Умнейший человек была Зойка маленькая.

Загадочно улыбаясь, они ушли. Севастьянов вернулся в отделение. Кушля прохаживался между столами, покуривая. Посторонних не было, рабочий день кончался.

— Мировые девчата! — сказал Кушля.

Севастьянов не ответил. Он не хотел разговаривать с Кушлей о Зоях. Он увел их потому, что сюда ходили женщины Кушли. Инстинктивно он пресекал возможность каких бы то ни было сопоставлений между теми женщинами и Зоями; между отношениями Кушли к тем женщинам и своим отношением к Зойке маленькой.

— Бывают же!.. — продолжал Кушля в задумчивости. — А вот я ни одной такой, понимаешь, не знал. Они мимо меня всю жизнь отдаля идут, ни к одной я никогда не подошел, и она ко мне не подошла, будто овраг между нами, отчего это, как ты думаешь?..

А вскоре новый захватил его жизненный интерес, могучее увлечение, то самое, которое владело Севастьяновым: Кушля зажегся страстью к журналистике.

Он писал дни напролет. Куда девалась его лень? Сидя в папиросном дыму под табличкой «Заведующий», углубленно серьезный, он покрывал крупными, катящимися по диагонали строчками длинные листы, сотни листов. С неохотой отрывался, когда к нему обращались, говорил отрывисто: «Ну что? Я занят» и норовил как можно скорее покончить с будничной мелочью и вернуться на свой Парнас.

Севастьянов рассказал ему, что Вадим Железный еще недавно звался Мишкой Гордиенко, был имажинистом и биокосмистом и тратил талант на чепуху, а что он станет мировым фельетонистом, никто и вообразить не мог. Кушля слушал не шевелясь, ленточка дыма завивалась вокруг его головы, ярко-голубые глаза смотрели с неистойвой серьезностью.

— А почему нет?.. — спросил он. — Ничего тут нет особенного. Дорогой товарищ, за то мы и боролись, чтобы это могло быть и со мной и с тобой, а не то что с Железным. Железному-то легко, он гимназию небось кончал...

Кушля родился и вырос в безвестной слободе Маргаритовке. Грамоте обучили его в Красной Армии.

Свои опыты он читал Севастьянову, Акопяну, наборщикам. Отважился показать Вадиму Железному, тот сказал: «Со временем, возможно, что-нибудь получится», но встреч стал избегать. А наборщики, зубоскалы на подбор, им не попадайся на язык, изощрялись в остроумии насчет Кушлиных писаний и, обидно комбинируя его имя и фамилию — Андрей Кушля, прозвали его: Андрюшля. Он продолжал писать и, не выдерживая горечи непризнания, жаловался Севастьянову:

— Кто они? (Про наборщиков.) Рабочая аристократия. У них жены в каракулевых воротниках ходят... При белых они где были? Там же в типографии. Белогвардейскую прессу набирали. (Кушля любил слово «пресса».) А я — потомственный пролетарий. Ну, деревенский. Что ж, что деревенский. Зато белыми шашками кругом порубанный. Я в моей родной рабоче-крестьянской прессе должен быть первый человек, первой Железного!

— Почитаться бы нам с тобой на рабфаке, — сказал Севастьянов, он начинал не на шутку задумываться о своем невежестве...

Зои больше не заходили в отделение. Но когда наступило лето, они часто поджидали Севастьянова на улице, с кем-нибудь из ребят, прохаживаясь, пока Севастьянов заканчивал свои дела. Он выходил, и они шли гулять и провожать друг друга, разговаривая обо всем на свете. Зои жили в Пролетарском районе, на Первой линии, Севастьянов с Семкой — в Центральном. Между этими районами лежала «граница» — полоса степи, делившая город как бы на два ломтя.

9

«Граница»... Шел, бывало, по Коммунистической, мимо каменных домов и чугунных решеток, и прямо с тротуара ступал в бархатную пыль степной дороги, нагретой солнцем. Бульжная мостовая с трамвайными рельсами выбегала в распаханное поле и пересекала его.

По одну сторону рельсов тянулся пустырь, где в ярмарку ставили карусели, качели, балаганы. За пустырем — мусорные свалки, угольные склады и угольный, прокопченный, рабочий,

неприбранный берег реки.

По другую сторону сеяли хлеб. Вдоль хлебного поля, параллельно трамваю, была протоптана дорожка, ее обсадили молодыми акациями. Колосья кивали проходящим горожанам, дикие травы подступали к дорожке, повилка забрасывала на нее свои длинные побеги с маленькими розово-белыми граммофончиками.

В начале тридцатых годов на «границе» строили театр. Севастьянов приехал тогда из Москвы в командировку и не узнал знакомого места. Поле было изрыто котлованами, завалено строительными материалами, ходили паровозы, выбрасывая кучевые облака, в облаках передвигались краны... Театр построили великолепный, с самой большой и самой усовершенствованной в мире сценой, из самых дорогих материалов, во всех газетах писали о нем...

В войну он был разрушен фашистской бомбой.

Теперь его опять поднимали из праха...

Но все это позже. В юношеские годы Севастьянова на «границе» колосился овес. Тут хорошо было петь хором, никто не мешал. И можно было, устав, посидеть на низенькой травке, пахнувшей пылью и повилкой.

10

— Как вы считаете, — спросила Зойка маленькая, — мы целый день спорили: человек работает, чтобы жить, или же он живет, чтобы работать?

Зоя большая сказала, покусывая колосок:

— Я считаю — он работает, чтоб жить.

— И я! — сказал Ленька Эгерштром, который по-прежнему крутился перед большой Зоей и во всем ей поддакивал.

— Так какой же ты после этого комсомолец! — тихо сказала Зойка маленькая и немножко задыхнулась от негодования. — Какой ты комсомолец, если ты так считаешь!

Ленька стал оправдываться:

— Ну хорошо. Если бы мои братья не работали в посадочной мастерской, на что бы мы жили? Нам не на что было бы жить. А ты думаешь, это очень приятная работа? Как же! У них вся одежда пахнет кожей, и волосы, и руки, никаким мылом не отшибешь, ни одеколоном, ничем. А они молодые парни. А девчатам это не нравится. Так, по-твоему, кто-то специально должен жить, чтобы работать на посадке?!

— Это частный случай! — возразил Семка Городницкий.

— Ну конечно! — сказала Зойка маленькая. — Частный и ничтожный.

Спирька Савчук сказал, что приятная работа или неприятная настоящего коммуниста это не должно интересовать. Это интеллигенция (Спирька произносил: интеллихэнция) выдумывает насчет приятности и неприятности. Кто не трудится, тот не ест. И все.

Желтые желваки ходили по Спирькиным скулам, желтый штопор чуба торчал из-под козырька

кепки, папироса, свисающая с губы, придавала Спирьке утомленный, разочарованный вид. В свое время, после изгнания белых, он был вожаком группы ребят, потребовавших, чтобы интеллигентов не пускали в комсомол: у них пускай будет своя организация, говорили эти ребята, а комсомол — только для рабочих. К интеллигентам они причисляли всех учащихся, без различия классов. «Молодежная трудовая оппозиция» — так звала себя Спирькина группа — митинговала и шумела по всему городу, распаляя страсти, пока губком партии не положил конец этой заварушке. «Молодежной трудовой оппозиции» предложили прекратить раскольничью деятельность, и Спирька, лишившись трибуны, заскучал и закапризничал. Между приступами малярии — его трепала малярия — он то эпатировал нэпманов на улице, то закатывался с неподходящими ребятами в пивнушку, то вдруг окружал большую Зою тяжелым, настойчивым, каким-то неприязненным вниманием...

— Если ты не паразит, — закончил Спирька, — работай, что тебе советская власть велела, и все. На то существуешь.

— Несколько примитивно, — сказал Семка, — но тем не менее соответствует истине.

Зойка маленькая спросила:

— Если цель жизни не в том, чтобы приносить пользу людям, то в чем же?..

— Смотря каким людям, — сказал Спирька Савчук.

— Рабочим и трудовому крестьянству, — заботливо уточнил Семка.

— ...Неужели в том, — продолжала Зойка, — чтобы жить для собственного удовольствия? Трудиться для продления собственной жизни?.. — Она пожала плечами с презрением.

Севастьянов сказал: все-таки приятная работа — не выдумка, есть много разных хороших работ, самая же лучшая — газетная; и не только печататься в газете, но и собирать заметки, и принимать подписку, и что угодно. Если бы даже за это не платили никакой зарплаты, он все равно бы это делал и ни на что не променял.

— А на жизнь где брал бы? — спросили они.

На жизнь подрабатывал бы. Например, опять бы пристроился разгружать баржи.

Зойка сказала: мало ли что. Вопрос поставлен принципиально. Жить ради наслаждения способен только мещанин. Она нервничала неспроста, они с Зоей большой, видимо, крепко поспорили на эту тему. Зою стали часто спорить, и маленькая, из воспитательных соображений, переносила вопрос на обсуждение коллектива. А ребят, бывало, хлебом не корми, только дай порассуждать о таких вещах.

Они чувствовали потребность определить — как им вести себя в новой жизни. Еще многое в этом смысле было туманно, они же хотели ясности во всем.

Однажды обсуждали: этично ли хорошо одеваться? Леньку Эгерштрома старшие братья устроили к себе в посадочную мастерскую, и он оделся шикарно — завел модные брючки-«бутылочки» из синего шевиота, модные туфли «щучки» и рубашку «апаш». И вот по поводу его роскошного вида зашел разговор: правильно ли, что комсомолец ходит в туфлях из чистого шевро и брюках, за шитье которых заплачена частнику-портному громадная сумма? Допустимо ли это для человека, носящего значок Коминтерна молодежи, когда во всем мире, кроме Советской республики, массы еще угнетены и обездолены и, скажем, в Германии на окраинах городов люди ютятся в жилищах, сделанных из ящиков, потому что нечем платить за квартиру, и дети питаются картофельными очистками?

Зойка маленькая била кулачком по ладони и говорила страстно:

— Недопустимо, недопустимо!

— Ребята, да подождите! — кричал Ленька Эгерштром. — Ребята, да постойте! У нас на посадке все так одеваются, что я, виноват? Если хотите знать, я еще столько не заработал, мне братья дали денег и сказали: «Оденься хорошо, а то ты как белая ворона». У нас на посадке здорово платят — что я, виноват?

Но о Зойке маленькой было известно, что ее отец, железнодорожный проводник, зарабатывает еще лучше, чем братья Леньки Эгерштрома, и Зойка единственная дочь, и отец с матерью хотели бы одеть ее как куклу, а она не позволяет. Разумеется, ее слово весило больше, чем Ленькино.

— Значит, — спросила вдруг Зоя большая, — и шелковые чулки нельзя носить?

— Конечно! — сказала Зойка маленькая.

— И лакированные туфли нельзя?

— Ты же слышала!

— И замшевые перчатки? И белье с кружевами? — спрашивала большая Зоя.

Все посмотрели на нее. Она шла в своих парусиновых туфлях, надетых на босу ногу, в с тираном-перестираном платье, у нее не было ни шелковых чулок, ни замшевых перчаток, ничего, кроме старого платья и грубых туфель. Неужели, подумал Севастьянов, и она, как Нелька, мечтает о барахле, выставленном в магазинах, но ведь Нелька — отсталая девчонка из Балобановки, а Зоя большая дружит с передовыми ребятами и читала «Джимми Хиггинса».

— Зоенька, — сказал Семка Городницкий, — не надо, чтобы мы думали о тебе хуже, чем ты есть. На черта тебе вся эта дрянь, ты прекрасна и так.

11

С обеими Зоями Севастьянов познакомился еще в двадцатом году.

В том году болели тремя тифами: сыпным, брюшным и возвратным. Умирали больше от сыпного. На плакатах была нарисована вошь. Магазины стояли заколоченные. Бандитов развелось гибель, по ночам в разных концах города бахали выстрелы. И было множество студий, где читали стихи, рисовали картины и танцевали босиком по методу Айседоры Дункан.

Югай сказал:

— Возьми какого-нибудь хлопца или дивчину, кто у нас разбирается в стихах?

— Семка Городницкий разбирается.

— Вот. Возьми Городницкого и сходите на Лермонтовскую, — Югай назвал номер, — там какой-то поэтический цех открыли, надо посмотреть, что за цех.

Лермонтовская улица была тихая, с бульваром, с четырьмя рядами сероватых от пыли деревьев. Поэтический цех помещался в бывшем буржуйском особняке, одноэтажном, из ноздреватого серого камня. Особняк стоял в глубине цветника. Клумбы заросли бурьяном, на

дорожках валялись окурки, но высокие прекрасные розы цвели над этим запустением — чья-то рука берегла их. В распахнутых окнах мелькали молодые лица.

Севастьянов и Семка вошли. Их не спросили — кто такие и зачем: и внимания на них не обратили. Они прошли по дому. В первой комнате были некрашенные скамейки без спинок да столик, во второй — рояль и перед ним круглый табурет, и больше ничего нигде, голо. Окна настежь. Сквозняк, запах роз из цветника. Молодежь вольно бродила по прохваченным сквозняками светлым гулким комнатам, сидела на мраморных подоконниках, кто-то подбирал что-то на рояле, встал — сейчас же другой подсел, стал подбирать свое. Каждая нота ясно звучала по всему дому. Вдруг все соскочили с подоконников и заспешили в ту комнату, где скамейки.

Там у столика стояла Тамара Меджидова и читала стихотворение. В нем говорилось, что она, Тамара, великая грешница; она сама в ужасе от своих грехов. Читала она гортанным страстным голосом. На ней было черное платье, черные волосы перехвачены бархаткой. Слушатели похлопали. Их было человек сорок. После Тамары появился Аскольд Свешников, весь в белом, лицо напудрено, ненормально блестящие подведенные глаза; губы накрашены были сердечком. Он сказал высокомерно-сонно:

— Пирамиды. Поэма. Рыжий египтянин смотрит на спящего львенка.

Сказал, прошагал к двери длинными ногами в белых штанах и ушел совсем ушел из комнаты. Севастьянов подумал, что он застеснялся и не хочет читать дальше, но оказалось — это вся поэма и есть. Аудитория зааплодировала. Один голос крикнул: «Хулиганство!» К столику выскочил Мишка Гордиенко — он был тогда легкий и тонкий, в студенческой тужурке, худые руки торчали из обтрепанных рукавов, — и закричал:

— В чем дело! Почему хулиганство! Брюсов написал: «О, закрой свои бледные ноги» — и не нашел нужным прибавить ни слова! Аскольд Свешников тоже не считает нужным разжигать свою поэму! Это его право! Не нравится читайте Северянина!

Аудитория притихла. Гордиенко выждал паузу, упершись тощими кулаками в столик, острые плечи поднялись до ушей.

— Чрезвычайное сообщение, — сказал он деловито. — Два события свершились минувшей ночью. Таинство смерти сочеталось с таинством рождения. Умер имажинист Михаил Гордиенко. Родился биокосмист Михаил Гордиенко. Родившись, он написал свое кредо, популярное изложение своих чаяний, назовем это декларацией, назовем это хартией! Оглашаю хартию биокосмизма. Кто не умеет слушать, прошу уйти.

Он стал читать по тетрадке.

— Земля, — читал он, — точно коза на привязи у пастуха-солнца, извечно каруселит свою орбиту. Пора иной путь предписать Земле. Да и в пути других планет уже время вмешаться. Мы не можем оставаться безучастными зрителями космической жизни.

Ни один человек не удивлялся. Космос вообще был в моде.

— Мы беременны новыми словами, — читал Гордиенко, — слово пульсирует и дышит, улыбается и хохочет...

Семка Городницкий, гордый поручением Югая, слушал добросовестно. Севастьянов, положившись на Семку, рассматривал собрание. Тут он и увидел Зою большую и Зойку маленькую.

Обнявшись, они сидели на задней скамье, в уголку, в стороне от всех. Их чистые глаза были

устремлены на Гордиенку серьезно и доверчиво. Глубокое внимание было на лицах. Видно было, что эти девочки забрели сюда в поисках чего-то очень для них важного. И они так старательно-опрятно были одеты, так мягко светились их волосы, ничего в них не было вызывающего и разухабистого, что всегда отталкивало Севастьянова. Они были тихи и прелестны.

Севастьянов как повернул к ним голову, так и сидел. Они и не замечали, что на них смотрят. Вот Зойка маленькая подняла глаза на Зою большую; а Зоя большая опустила свои темные ресницы к Зойке маленькой; они переглянулись, понимающе улыбнувшись. «Не сестры, — думал Севастьянов, не похожи... Подруги. Дружны — водой не разольешь. Беленькая советуется с черненькой. Черненькая оберегает беленькую...» С первого взгляда, действительно. Зойка маленькая казалась существом воздушным и робким, находящимся под крылом большой Зои.

Вдруг кусты за окном прошумели бурно, и на подоконник вскочил из цветника молодой моряк. Секунду он стоял на подоконнике во весь рост, словно давая полюбоваться своей ладной фигурой и моряцкой формой, потом спрыгнул на пол, прошел в соседнюю комнату, и оттуда раздалась прекрасная громкая музыка. Все поднялись, заговорили, застучали скамьями, двинулись за моряком. Только Гордиенко продолжал читать, выкрикивая слова; но даже Семка Городницкий его бросил и ушел с Севастьяновым к роялю. Обступив рояль, молодежь смотрела, как играет моряк, как трудятся над клавишами его загорелые руки, схваченные в запястьях обшлагами блузы. Близко от Севастьянова, прижавшись друг к другу, стояли Зоя большая и Зойка маленькая, все трое они отражались в лакированной поднятой крышке рояля. Маленькая спросила тихонько, не обращаясь ни к кому:

— Интересно — что это он такое играет?

Севастьянов взглянул на Семку. Тот стоял поглощенный музыкой, его горбоносое лицо было закинуто, губы шевелились. Севастьянов толкнул его и спросил:

— Что он играет?

— Вагнер, — очнувшись, ответил Семка. — Тангейзер.

— Вагнер, Тангейзер, — дружески объяснил Севастьянов Зойке маленькой.

— Вагнер, Тангейзер, — прошептала Зойка, глядя перед собой светло-зелеными прозрачными глазами.

Несколько лет спустя они с Севастьяновым признались, что в первый раз услышали тогда и о Тангейзере, и о Вагнере. Но в тот вечер они это скрыли и почувствовали друг к другу уважение.

А потом как-то само получилось, что они ушли из Поэтического цеха вчетвером и до полуночи гуляли, разговаривая, по Первой линии. Люди солидные боялись поздно ходить по улицам, тем более окраинным, но эти четверо были защищены от грабежа своей бедностью. Отчасти потому, что такова была сложившаяся в гражданскую войну привычка, отчасти потому, что тротуар был слишком узок и щербат для их привольной ночной прогулки, — они ходили по середине улицы, по булыжной мостовой: в центре, обнявшись, две Зои, по сторонам — Городницкий и Севастьянов. Ни фонаря, ни огня в окошке; только звезды освещали Первую линию. Пепельно отсвечивала, горбясь во мраке, широкая мостовая. Белесыми ручейками стекал в ее впадинах облетевший с акаций цвет. Кроны акаций вдоль улицы были темнее мрака. За ними — безмолвные, каждый себе на уме, запершись наглухо, спали кирпичные домики. Последний прохожий прошел, торопясь и размахивая руками, звук шагов его замер. А четверо ходили по пустой улице, как по собственной квартире, и разговаривали легкими голосами.

Зоям нравилось в Поэтическом цехе. Там интересно. Там все талантливые. Михаил Гордиенко талантливый. Тамара Меджидова очень талантливая. Аскольд Свешников — гениальный.

— Это у которого поэма про львов, — пояснила большая Зоя.

— Разве это про львов? — спросил Севастьянов.

— Это про Египет, — сказала Зойка маленькая.

— Как у него странно глаза блестят, — сказал Севастьянов.

— От кокаина, — сказала Зоя большая. — Он нюхает кокаин.

Она сказала это так же уважительно, как говорила: «Он гениальный».

— А как он сказал, — спросил Севастьянов, перескакивая на Гордиенку, — он был — кто? А стал — кто?..

— Биокосмист, — ответила Зойка маленькая. — Это новое, правда, Зоя? Биокосмистов еще не было, были имажинисты и ничевоки.

— А чего хотят ничевоки? — спросил Севастьянов.

Зоя большая объяснила набожно:

— Они говорят: ничего не пишите; ничего не читайте; ничего не печатайте.

— А вы читали Блока? — спросила Зойка маленькая. — «Балаганчик» читали?

— Она от любви к нему хотела утопиться, — сказала большая Зоя.

— Кто?

— Тамара Меджидова.

— От любви к Блоку? — спросил Семка.

— К Аскольду Свешникову. У нее об этом есть стихи.

Зойка маленькая процитировала мечтательно-застенчиво, чуть слышно:

— «Я к тебе прихожу через бездны греха, я несу мое сердце на простертых ладонях».

— Тамара Меджидова — необыкновенная, правда? — спросила большая Зоя.

Их уважение к людям, пишущим стихи и хартии, было огромно. Оно было так огромно, что им не пришло бы в голову влюбиться в Гордиенку или Свешникова. Они не претендовали на внимание титанов и тем более на их чувства. Но любовь между титанами будоражила их. Тамара Меджидова, шествующая через бездны греха к Аскольду Свешникову со своим любвеобильным сердцем на простертых ладонях, была откровением, озарением для этих девочек с Первой линии.

Семка Городницкий немедленно принялся их перевоспитывать. Он спросил, как они относятся к Маяковскому, и стал читать из «Человека». «Хотите, по облаку телом развалюсь и буду всех созерцать!» — гремел он грозным басом перед крепко зажмуренными, затаившимися позади деревьев домиками. И тут вышел горбун и разогнал их.



Горбун вышел из калитки — щелкнула щеколда — и стоял в темной сени акаций, белея рубахой и светя огоньком папиросы. Белая рубаха так резко выделяла горб, что видно было издали: горбун стоит. И хотя Зою молчали и продолжали идти рядом, но Севастьянов почувствовал, что обе они, едва только щелкнула щеколда, перестали слышать Семку, их внимание устремилось на фигуру, стоявшую в тени.

Горбун позвал негромко скрипучим голосом: «Зоя!» — и Зоя большая молча отделилась от компании и пошла к нему. Он пропустил ее в калитку, вошел следом, коротенький и уродливый — за высокой, тонкой, с длинной гибкой шеей... Гроыхнул болт. Трое остановились. Зойка маленькая сказала:

— До свиданья!

Подав Севастьянову и Семке теплую крепенькую руку, она взбежала на крыльцо. Оно было рядом с калиткой, куда увел горбун большую Зою. Кирпичный домик, три окошка на улицу. Жалюзи на окошках. На двери звонок белая пуговка. Дом Зойки маленькой.

12

У них там полы светло-желтые и такие вымытые и блестящие, словно на них всегда светило солнце. Когда являлись ребята, мать и бабушка Зойки маленькой прямо-таки мучались, уходили подальше, чтобы не видеть, как ребята, оставляя без внимания половики, ступают ножищами по этому сияющему полу. Сделать замечание мать и бабушка не смели, боялись огорчить Зойку.

Они обожали ее. Особенно отец, который постоянно уезжал и, уезжая, приказывал матери и бабушке, чтобы они берегли Зойку и не расстраивали ее своими пустяками.

Все в домике было для Зойки: чистота, и солнце, и вымытые цветущие растения в горшках и кадках, и пианино, и аквариум с рыбками, и шкафчик с книгами.

Пианино отец купил (выменял на сало и муку), чтобы Зойка научилась играть, чтоб она была настоящей барышней. Зойка отказалась учиться играть, но пианино стояло, с него стирали пыль, его накрывали вышитыми дорожками, его медные педали и подсвечники начищали мелом — Зойка могла передумать и захотеть учиться музыке, Зойкины дети могли захотеть учиться музыке, наконец — это было ценное имущество, которое Зойка могла продать когда-нибудь впоследствии, в черный день.

Аквариум отец завел потому, что, когда Зойка была совсем крошечной и дом их был только заложен (строился он несколько лет), она у знакомых увидела банку с золотыми рыбками и в восторге закричала: «Папа, рыбки!» и это занозило отцовскую душу. С тех пор, строя дом, увертываясь от мобилизации (тут началась мировая война), разъезжая проводником в загаженных, битком набитых поездах, выторговывая на сытых степных станциях мед и сало за юбки и пиджаки, купленные в городе на толкучке, — он помнил тот счастливый Зойкин крик. Он купил настоящий богатый аквариум, с гротом, с нежными диковинными водорослями, и населил его диковинными, дорогими рыбками. Он не подумал, что они уже не нужны Зойке, что она выросла. Она удивилась, она к ним и не подходила, — за аквариумом ухаживали не покладая рук бабушка и мать.

Из всех приобретений отца единственной ценностью был для Зойки книжный шкаф. Он стоял в ее комнате (никто в семье, кроме Зойки, книг не читал). Полки шкафа были как пласты пород в разрезе земной коры, они рисовали историю Зойкиного развития.

Внизу были свалены небрежно книги детства: «Маленький лорд Фаунтлерой», «Голубая цапля», сочинения Лукашевич и Желиховской и в подавляющем количестве — Чарская, вдребезги зачитанная подружками, распавшаяся на золотообрезные листы и потускневшие корки роскошных когда-то переплетов, — Чарскую в золоте и серебре отец дарил на именины.

На средних полках стояли Пушкин и Гоголь с картинками, небесно-голубой Тургенев, «Обрыв», Надсон, хрестоматии. Их не трогали, они были погребены под разрозненными номерами альманаха «Шиповник».

На верхней полке находились Зойкины сокровища: Блок, Ахматова, излюбленный Бальмонт в мягких белых шелковистых обложках... То были святыни, царства. Но как легко рушились царства! Не прошло и месяца после знакомства Зой с Семкой Городницким, как на заветной полке, раздвинув и притиснув изящные книжечки, стала некрасивая, переплетенная в грязно-розовую бумажку книга «Все сочиненное Владимиром Маяковским», а Бальмонта Зойка маленькая отправила к Чарской. Семка Городницкий был у Зойки в почете, она уважала его за начитанность и не обижалась, когда он, являясь, возглашал:

— Я к тебе прихожу через бездны греха!

В последующие годы шкафчик был забит брошюрами о Парижской коммуне, девятьсот пятом годе, политэкономии, задачах комсомола. Так жила Зойка, бросаясь от стихов к политическим статьям и принципиальным спорам, пока ее отец возил со станции кошелки с яйцами, а мать и бабушка чистили аквариум и пекли пироги.

У нее были зеленоватые, как крыжовник, глаза и детская шея, золотистая от загара. И волосы золотистые, коротко обрезанные, они завивались по-мальчишески вверх, открывая шею сзади и округлый лоб. Через щеки ее и переносицу лежала легкой тенью полоска веснушек, от них еще милее был приподнятый детский нос.

В летние вечера, перед заходом солнца, жители Первой линии выходили посидеть на улице, на крылечках, сложенных из больших серых камней. Сидели, разговаривали, лускали семечки старики и старухи, молодые женщины и девчонки с длинными голыми ногами, расчесанными в кровь от комариных укусов. Неизвестно, чего больше было насыпано на улице — сухого цвета акаций или подсолнечной шелухи. Девочки играли в кремешки, мальчики в айданы. Соседи подходили к соседям — узнать новость, рассказать новость. Севастьянов шел к Зойке маленькой, — на крылечках умолкали, наблюдая его, слышалось только звонкое щелканье разгрызаемых семечек, он шел под щелканье семечек, как в романах идут к любимой под соловьиное щелканье.

Она не сидела на крыльце. Сидела, должно быть, пока не прочла «Балаганчик» и «Незнакомку» и прочее тому подобное; пока была девчонкой в коротком платье, с голыми выше колен ногами, и играла в кремешки. В пятнадцать лет ее не занимали ни кремешки, ни уличные новости. Ее мать и бабушка сидели на крыльце, иногда и отец, когда не был в поездке. Севастьянов здоровался и спрашивал:

— Зойка дома?

И при этом знал, что она там, за занавесками, уже слышала его шаги, сейчас раздвинет занавески и станет, золотистая, между распахнутыми створками зеленых жалюзи, улыбаясь ему своей серьезной улыбкой.

А кто такой был моряк, что играл из «Тангейзера»? Зои ничего о нем не знали, кроме того, что он приходил через окно, играл что-нибудь громкое и сейчас же уходил. Почему ему нравилось входить через окно? Почему он приходил играть в Поэтический цех? Если он был моряк, то что делал в этом городе, куда приплывали по реке только баркасы с арбузами и рыбой да старые баржи, ведомые маленькими парходиками? И если он был моряк (а он был моряк; он носил свою матросскую одежду как моряк; у него был загар моряка и походка моряка), — если он был моряк, то где и когда научился так играть?.. Все это осталось неизвестным, потому что Поэтический цех вскоре закрыли.

Закрывал его Югай. С ним пришла Женя Смирнова, агитпроп райкома, плотная и румяная, в выгоревшей косоворотке и красной косынке, через плечо портупея. Цвет Поэтического цеха был в сборе — Гордиенко, Свешников, Тамара Меджидова... Стоял душный вечер, все были в рубашках с расстегнутым воротом, в легких платьях, один Югай в кожанке. Он прошел к столику, перед ним расступились, говор затихал, пока он шел. Он сказал:

— Именем губернского комитета комсомола. — Стало совсем тихо. Мелкобуржуазный клуб, так называемый Поэтический цех, организованный группой интеллигентов без учета революционных интересов трудовой молодежи, объявляю закрытым. — Собрание заговорило... — Тихо! — сказал Югай, Женя Смирнова придвинулась к нему, положила руку на кобуру. — Хватит с нас опиума всевозможных видов! Руководителям бывшего Поэтического цеха предлагаю покинуть здание.

И они все, по одному, пошли к дверям — Гордиенко, Тамара и последним — Аскольд Свешников с сонным выражением напудренного лица, с пренебрежительно опущенной нижней губой, сквозь пудру на его носу ртутными каплями проступал пот.

— Остальным остаться, — сказал Югай.

Но еще человек десять ушло демонстративно вслед за Свешниковым. А с оставшимися Женя Смирнова звонким голосом повела беседу о ликвидации неграмотности — важнейшей культурной задаче победившего пролетариата.

В двадцатом году вдоль Коммунистической тянулись два ряда пустых грязных витрин — магазины не торговали. Изгнанные из особняка поэты обосновались в витрине. Они там поставили свой столик, за столиком сидел дежурный. Чаще других дежурил Михаил Гордиенко. Подняв острые плечи, он внимательно писал, иногда взглядывая на прохожих; а прохожие смотрели на него — как он за большим стеклом пишет, сморкается и разговаривает с приходящими поэтами. Слева от Гордиенки висела хартия биокосмистов, справа — декларация ничевоков, то и другое было написано от руки, неважным почерком, на длинных кусках обоев. «Окно поэтов» — так это называлось. Гордиенко сидел там до холодов, потом ушел. И все ушли, и за морозными узорами окна, меж двух длинных манускриптов, одиноко коченел поэтический столик... Когда Севастьянов опять встретил Гордиенку, тот был уже Вадимом Железным, не шумел, стал шире в плечах... Тамару Меджидову Севастьянов позже, году в двадцать четвертом, видел в обществе «Друг детей». Она была в каштановой телячьей куртке с белыми подпалинами и в пыжиковой шапке, у которой на ушах болтались ботиночные тесемочки. Грешная Тамара была в этом виде просто добродушной теткой, ошалелой от кучи забот. Портфель ее был набит чужими рукописями: общество «Друг детей» издавало приключенческие романы; выручка шла на борьбу с детской беспризорностью; Тамара состояла при этих издательских делах... Что касается Аскольда Свешникова — этот уехал за границу, у него там оказались родственники.

Зоя большая жила по соседству с Зойкой маленькой.

Маленькая стучала условным стуком в деревянный забор, большая приходила.

С того двора кричали: «Зоя!» Иногда это был женский голос, иногда голос горбуна. Зоя большая вставала и уходила, маленькая провожала ее нахмуренным, озабоченным взглядом.

Во дворе у Зойки маленькой росли черешни. Большие блестящие ягоды, красные и черные, казались сделанными из дерева и покрытыми лаком. Их разрешалось срывать и есть сколько угодно. Самые красивые, по две на одной веточке, Зоя большая любила надевать на уши. Она себя вечно украшала — то наденет ожерелье из мелких ракушек, нанизанных на нитку, то приколет цветок на грудь. И Зойке маленькой она надевала серьги из черешен. Очень они обе были хороши, когда разговаривали и смеялись и яркие блестящие ягоды качались у их щек.

Как жила большая Зоя? Она никогда о себе не рассказывала, и Зойка маленькая на вопросы о ней отвечала неохотно, хмурясь. Зоя большая живет с матерью и братом — кроме этого, собственно, ничего не сообщалось.

Проходя мимо ее ворот, Севастьянов видел в открытую калитку нищее подворье, уставленное лачугами, увешанное тряпьем, еще более неприглядное, чем открытые зною и пыльным ветрам дворы Балобановки. Тут постоянно плакали дети и кричали, переругиваясь, женские голоса. Из этого двора, залитого мыльными помоями, выходила, улыбаясь, большая Зоя; привычным движением наклоняла голову в низенькой калитке; не торопилась закрыть калитку, божественно уверенная, что безобразие, в котором ей приходится существовать, не сливается с нею, не может никому помешать ею любоваться. Севастьянов заметил, что у Зойки маленькой ее прикармливают. Делалось это, конечно, ради Зойки маленькой — той бы кусок не пошел в горло, если бы она не могла разделить его с Зоей большой.

В какую-то осень Севастьянов встретил большую Зою на бирже труда. Там была лестница со сбитыми, заплывшими ступенями из серого мрамора и во всю ширину площадки — окно, его стекла, несколько лет не мытые, почернели и стали непрозрачными. У черного окна, в сумраке, стояла большая Зоя. Севастьянов угадал ее издали, снизу, по очертаниям узких бедер, высокой шеи, непокрытой стриженной кудрявой головы. Она стояла в своем старом пальтишке, из которого выросла, и крутила в пальцах носовой платок. Севастьянов остановился, она подала озябшую руку в коротком рукаве.

— Отмечаться? — спросил он. — Пошли вместе.

— Я жду брата, — ответила она.

Она уронила платок и сказала:

— Если дама что-нибудь уронила, кавалер обязан поднять.

— Вот, действительно, — сказал он, — я похож на кавалера, а ты на даму!

Но все же нагнулся и поднял ее платок, мокрый холодный комочек. Люди шли мимо них, кто вниз, кто вверх. Она сказала, вдруг забеспокоившись:

— Ну, иди. Вот он.

Ее брат спускался по лестнице. Севастьянов сказал: «Всего» и пошел наверх. Непонятную, непобедимую неприязнь испытывал он к ее брату. И горбун при встречах пристально и

недобро взглядывал Севастьянову в глаза своими быстрыми темными глазами и здоровался как-то так, что это у него несмотря на малый рост — получалось свысока.

Он спускался по лестнице самоуверенной походкой, развязно выбрасывая короткие ноги. С ним шел Щипакин, они разговаривали как знакомые. Севастьянов подумал: «Ого, какое у горбуна знакомство», — для безработного Севастьянова Щипакин был большим человеком.

Сейчас и не вспомнить, как называлась его должность, как-то длинно, и было там слово «уполномоченный»... Щипакин в союзе совторгслужащих занимался трудовым устройством молодежи, он мог устроить на работу, поэтому был одной из популярных фигур на бирже труда. У него были тяжелые круглые глаза навывкате, нос в форме башмака и очень большое расстояние от носа до верхней губы, еще удлиненное глубокой вертикальной ложбинкой. Совсем молодой, он держался важно, с сознанием своей видной роли. Если кто-нибудь из безработных обращался к нему недостаточно, по его мнению, уважительно — он обижался, обрывал, хамил. С горбуном он говорил благосклонно, Севастьянов это отметил, разминувшись с ними на лестнице.

Он отметил это вскользь, их отношения не так уж его интересовали... Шагая через ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. В огромном холодном зале было, как всегда, по-вокзальномулюдно, хвосты очередей перед фанерными окошечками, гул голосов, странно усиленный и омузыкаленный акустикой зала. На полу вдоль стен, подпирая их спинами, сидели люди, курили. Серый дым висел в воздухе, чтобы проветрить — открыли одно из окон на улицу. И там было дымно-серо, шел сильный дождь. Брызги залетали в зал. Люди кашляли, поднимали воротники. Севастьянов только спросил: «Кто последний?» и стал в очередь к окошку регистратуры, как вдруг раздался женский крик, сидевшие повскакивали, все зашумело.

— Кто? Кто? — спрашивали кругом. У открытого окна вмиг сбилась толпа, лезли на подоконник; другая толпа хлынула на лестницу.

Севастьянов в числе первых очутился возле тела, распростертого на асфальте. Помочь ничем было нельзя. Дождь барабанил по луже крови, размывая ее. Одежда самоубийцы успела промокнуть. Нищета этой одежды нищета, на живых настолько привычная, что ее уж не замечали ни у себя, ни у других, — на мертвой кинулась всем в глаза. Солдатские «танки» без подметок, заскорузлые, зашнурованные веревкой; жакетик — одно название заплатка на заплатке; весь в дырах кровавый платок... Неправдоподобно темно-синяя лежала у ног сбежавшихся людей небольшая рука, ладонью вверх, пальцы сложены чашечкой, в чашечку, брызгая, набиралась дождевая вода... Толпа густела. Сквозь серую водяную завесу Севастьянов увидел — среди чужих лиц — лицо большой Зои, темный взгляд ее, остановившийся на самоубийце.

Загудел автомобиль, люди расступились, запахло сквозь дождь аптекой, появились белые халаты, носилки, милиционер, мелькнул щипакинский нос башмаком... Севастьянов видел, как горбун вводил большую Зою, а она спотыкалась и оглядывалась...

Вечером Севастьянов рассказал о происшествии Зойке маленькой. Зойка выслушала молча, сдвинув брови, потом спросила:

— Где же Зоя?

Зоя большая, оказывается, не забегала со вчерашнего дня, ее с утра не было дома. Так она и не пришла, Севастьянов и Зойка маленькая сидели вдвоем. Тихий тянулся вечер, Зойка была не в духе, мерно шумело по крыше, разговор не клеился. Севастьянов у шкафа листал книжки и думал, что ему еще шагать в Балобановку... Зойка сказала, возвращаясь к разговору о самоубийстве:

— Все-таки это слабодушие.

Севастьянов вспомнил руку на асфальте и сказал:

— Кто его знает. Трудно без работы... Очень ей, значит, стало невмоготу.

Потом он добавил:

— Вот, будет мировая революция — все наладится.

— Да! Да! — сказала Зойка.

Горбун вскоре после того поступил на работу, завхозом в клуб совторгслужащих.

15

Дождь переходит в снег, снег валит крупно и густо, как на рождественской открытке, непрерывно падающей сверкающей сеткой заслоняет фонари, ложится толстой гусеницей на резко освещенную цветастую вывеску «Нерыдая».

«Яблочко» ухает из глубин «Нерыдая».

Две женщины под фонарем, пряча лица в воротники, выбивают каблуками дробь.

— Хорошенький, погреться не мешает, — хриплой скороговоркой говорит одна, когда Севастьянов проходит мимо. — Мы уважаем шенпанское, но можем простую водку, если у вас финансы поют романсы.

Другая перебивает:

— Сказилась, какие у него финансы!

— Да на водку много ли надо! — простуженно кричит первая вслед Севастьянову. — Хорошенький, пошли в «Нерыдай»!

Это он шел из редакции с совещания.

Он тогда только что поступил в «Серп и молот».

У него не было на трамвай, а постоянный билет ему еще не выдали, а попросить у кого-нибудь денег в долг он постеснялся.

...На совещании были сотрудники и рабкоры. Из типографии — из красного уголка — в кабинет Дробышева снесли скамейки. Дробышев делал доклад о задачах большевистской печати. Вдруг погас свет. Один из рабкоров поднялся и, светя себе зажигалкой, пошел смотреть пробки. Оказалось авария на станции. Дробышев говорил в темноте. Молчаливо попыхивали папиросные огоньки. Потом внесли керосиновую лампу. К концу доклада электричество опять зажглось.

...Вадим Железный написал отчет об этом совещании. Он там написал: «Рабкоры вошли и поклали шапки на стол».

Акопян выправил: «положили шапки на стол».

— Не подсовывайте мне ваши вываренные в супе слова, — сказал Железный.

— «Поклали» — неграмотно, — сказал Акопян.

— «Поклали шапки» — это экспрессия, масса, мускул, акт! — сказал Железный. — Вы полагаете — в слове все исчерпывается его грамотностью?

— В трамваях висит объявление, — сказал Акопян со своим мягким акцентом, — напечатанное, кстати, у нас в типографии: «Детей становить на скамейку ногами воспрещается». Может быть, вам нравится слово «становить»?

— А конечно, потому что в нем образ! — воскликнул Железный. — Ставят клизму, как вы не понимаете, черт вас возьми! Слово «ставить» тут немыслимо даже ритмически. «Детей ставить на скамейку ногами»... Слышите?! Фраза кособочится, у нее заплетается язык! Это объявление набирал лингвист, умница! И разве не восхитительно «становить ногами», как будто можно становить и головой, разве в этом не эпоха?

— Рабочая газета ищет эпоху в других ее проявлениях, — сказал Акопян спокойным голосом, но очень категорически.

Севастьянов ходил по вьюжным улицам, ходил по большим заводам и маленьким мастерским, набирая полные ботинки снега, и думал: что за штука такая — слово, в Поэтическом цехе сражались из-за слов и в редакции сражаются, и как может быть в слове эпоха, и как это фраза кособочится, и кто же прав — заносчивый Железный или добрый спокойный Акопян.

Он уважал Акопяна, но то, что говорил Железный, ему тоже очень нравилось.

Ему казалось, что и он, Севастьянов, ощущает в каких-то словах силу (мускул) и напор (массу?), а какие-то и ему представляются словно бы действительно — вываренными в супе... Он уже — еле-еле — чувствовал и предчувствовал кое-что, хотя еще много лет и вьюг лежало между ним и его первой книгой.

...Все они выросли, кому исполнилось семнадцать, а кому и восемнадцать. Они считали себя взрослыми, и взрослые не считали их детьми. Спирька Савчук уже брился. У Семки Городницкого окончательно окреп его утробный бас, выработанный посредством многолетних упражнений; он этим басом шикарно спорил с попами на диспутах. Ванька Яковенко поступил на плужной завод и быстро стал выдвигаться — его выбрали в бюро ячейки и сразу в секретари, он стал очень деловым, подружился с Югаем и Женей Смирновой, а от старой компании отдалялся.

Сильнее всех изменилась большая Зоя. Прежде такая тихая, задумчиво-созерцательная, она становилась шумной, полюбила веселье и шутки, полюбила, чтоб парни за нею ходили гурьбой. Парни ходили гурьбой, а ей все было мало, она хотела еще и еще знакомств и побед. Беспочинное раздражение прорывалось у нее, смех стал нервным, глаза вспыхивали беспокойно. И по разным вопросам они все чаще спорили с Зойкой маленькой.

Раз Севастьянов случайно услышал, как они спорили о любви.

— Он меня обожает! — говорила большая грудным, таинственно пониженным голосом. — Разве ты не видишь — он для меня что хочешь сделает!

— Да, вижу, — отвечала маленькая. — Но ты мне скажи — зачем тебе это, ведь ты его не любишь!

— Ну как зачем! — упрямо сказала большая. — А ты разве не хочешь такой любви, чтобы для тебя готовы были в воду кинуться?

— Я хочу такой любви, чтоб я сама ради какого-нибудь человека была готова в воду кинуться!  
— сказала маленькая. — И ты такой любви хочешь, и для чего ты прикидываешься эгоисткой, я не понимаю. Я ведь знаю, что ты не эгоистка!

Тут вошел Севастьянов, и спор прекратился. Севастьянов понял, что это они говорили о Спирьке Савчуке, ведь за версту была видна Спирькина тяжкая влюбленность в большую Зою.

То был уже двадцать третий год — лето двадцать третьего, уже были мечты о журналистике, был Кушля, уже Севастьянов ушел из Балобановки и обитал с Семкой Городницким на Коммунистической, в комнате возле кухни, где царствовали три ведьмы.

Мечты и прогулки по «границе» были до середины лета. А потом голубоглазый Кушля вмешался в судьбу Севастьянова и переломил ее.

16

Но сначала Севастьянов и Семка Городницкий учились на политкурсах.

Занятия происходили в школе. Севастьянов, с его длинными ногами, подолгу вертелся, усаживаясь за парту, и стучался коленями... Для учебы его освободили от вечерней работы. На курсах они познакомились с двумя страшно передовыми девушками с табачной фабрики, одну звали Электрификация, другую Баррикада. В сущности, их звали Рива и Маруся, но они октябрились в клубе, с речами и подарками от фабкома, и приняли новые имена для нового быта. Они то и дело хлопали ребят по спинам и кричали: «Шурка, сволочь! Семка, гад!» и по самому нестоящему поводу заливались хохотом. При всем том — славные были девушки...

Кроме молодежи на курсах учились и пожилые люди, был там инвалид войны, ходивший на костылях, был старик с бородой, как у Маркса, была неприветливая болезненная женщина в пенсне... Им читали лекции о прибавочной стоимости, диктатуре пролетариата, диамате и истмате, о великих утопистах, предшественниках марксизма.

Семка, эрудит, начетчик, обо всем этом читал раньше, а Севастьянов впервые слышал так подробно и был по-настоящему потрясен — сколько же люди думали, искали, фантазировали, догадывались, открывали, стремясь устроить человеческую жизнь разумно и справедливо. Он даже поднялся в собственных глазах, обнаружив, что его волнует этот мир отважного и жадного мышления, с которым он соприкоснулся; что, значит, он, Севастьянов, тоже из той людской породы, которой доступно высокое. Мысли, зарождавшиеся в его юной голове самостоятельно, имели пока что значение только для него; но на чужую мысль эта голова отзывалась быстрым пониманием, это ведь тоже кое-что.

В тот период своей жизни они с Семкой разговаривали почти исключительно на социально-философские темы, даже сообща сочиняли стихи на эти темы:

Познавательный процесс

Не свалился к нам с небес,

И врожденных у людей

Сроду не было идей...



В моде была кабацкая песня про торговку бубликами:

Бублики! Горячи бублики!

Купите бублики, народ честной!..

«Буб-лики! Горячи буб-лики!» — пела улица. «А я несчастная торговка частыная!» — пронзительно пел маленький босоногий пацан в коротких штанах и выгоревшей буденовке. «Буб-лики! Горячи буб-лики!» — яростно суфлировала гармошка из пивной. А Севастьянов и Семка, идя домой после лекций, сочиняли песню для себя и своих товарищей:

Гегель странный был чудак,

Не поймешь его никак:

Диалектика — того

Вверх ногами у него.

Диалектике было

В этой позе тяжело,

Но явился Фейербах,

И она уж на ногах.

Фейербах, Фейербах,

Браво, Людвиг Фейербах!

И так далее — топорно и, быть может, излишне фамильярно, но зато от всего сердца.

А девчата — Электрификация и Баррикада — смотрели им в рот, когда они сочиняли, и потом пели с ними вместе.

17

С тех пор как Кушля возглавил отделение «Серпа и молота» и поселился там, писать Севастьянову стало негде.

В отделении был Кушля, дома — Семка Городницкий.

Кушля непременно подошел бы и заглянул, что там Севастьянов пишет. Он не признавал секретов.

Семка без спроса не сунется, но севастьяновские листки могли попасться ему на глаза случайно, у них ведь ничего не запиралось, да и запирасть было некуда, — и неужели же Семка не прочтет? Надо быть возмутительно равнодушным к товарищу, чтобы не прочесть. И Севастьянов огнем сгорит от Семкиных критических, логических, иронических замечаний. Если же Семка воздержится от замечаний, и даже не усмехнется, и будет молчать, словно ничего знать не знает, — это ужасное сострадание еще невыносимее.

Лишенный приюта для своей музыки, Севастьянов творил мысленно. У него была пропасть времени, когда он шагал от предприятия к предприятию по редакционным делам.

Шагал, вдруг замечал на себе чей-то взгляд и, спохватясь, сгонял с лица улыбку.

На короткое время отстал было от сочинительства — пока учился на курсах и увлекался общественными науками; потом опять вернулся.

Он составлял в уме фразы, заботясь о том, чтобы они не кособочились. Слагал газетную прозу, как поэты слагают стихи. Кое-что записывал тайком фразу, абзац — и прятал в карман. Газета светила ему как маяк: его интересовали только те явления, которые могли интересовать газету. Изложить старался помускулистее, в подражание Железному. (Московских журналистов, печатавшихся в «Правде» и «Известиях», они с Кушлей тоже читали внимательно, но находили, что наш Железный пишет лучше.)

И вот однажды получилась у Севастьянова одна вещь, и он почувствовал желание показать ее кому-нибудь. Первый раз почувствовал такое желание.

Не желание: необходимость! Неизбежно было, чтобы еще кто-то, кроме него, эту вещь узнал. Не то чтобы исчез его целомудренный страх перед судом другого человека — страх за свое неумение, несовершенство своей работы; страх остался, но как бы отступил на время и наблюдал со стороны: что-то будет!..

Севастьянов пошел в отделение, сел и в присутствии Кушли стал записывать то, что сложилось в его мозгу. Вышло вроде стихотворения в прозе — этого он не знал, не был посвящен в такие тонкости; он все, что сочинял, считал фельетонами... Там рассказывалось, как рабочие судоремонтного, с женами и детьми, пришли на субботник — убирать в цехах: судоремонтный, после долгого перерыва, снова вступал в строй. Субботник был описан с разными восклицаньями, заимствованными у Вадима Железного. Но кое-что было незаимствованное, свое, — тот рабочий: как он разбирал станок, с каким вниманием, не подымая глаз, долго рассматривал снятую часть и клал бережно, — и следующую, перед тем как снять, осматривал, и что-то обдумывал, и в раздумье поигрывал по станку пальцами, и посвистывал, сложив губы дудочкой, — а потом он сел тут же на подоконник и завтракал, медленно жуя и не спуская глаз со своего станка, в одной руке хлеб, в другой ломоть арбуза, — вот этого рабочего Севастьянов сам отметил среди сотен человек и по-своему описал, и этому описанию обрадовался до такой степени, что не мог не поделиться с кем-нибудь своей радостью.

И, безусловно, легче было делиться с Кушлей, чем с начитанным и ироническим Семкой Городницким.

Как он и предугадывал, Кушля, увидев его пишущим, подошел и стал за его плечом. Попыхивая папиросой, он стоял и читал. Севастьянов дописывал не оборачиваясь, уши у него горячели. Кушля взял первый, уже отложенный лист, стал читать с начала. Тем временем у Севастьянова поспел конец; Кушля прочел конец и спросил недоверчиво:

— Это что?

— Да так просто, — нелепо ответил Севастьянов.

— Твое? — спросил Кушля еще более недоверчиво и даже грозно и перешел на другое место, чтобы взглянуть Севастьянову в лицо.

— Мое! — решился Севастьянов.

Ярко-голубые Кушлины глаза смотрели ему в самую совесть.

— Не врешь?

— Иди ты!

Скрестив на груди руки, Кушля прошелся взад-вперед.

— Замечательно!

Он это сказал с глубоким убеждением и серьезностью. И Севастьянов знал, что шутить он не умеет, а все-таки поглядел: не шутит ли?

— Ты считаешь — ничего?

— Что значит ничего! — сказал Кушля с тихим торжеством. — Я же тебе говорю — замечательно!

«Да неужели, — значит, мне не показалось, — да, должно быть, да, конечно, это хорошо!» — подумал Севастьянов.

— Это же надо, понимаешь, сел и написал единым духом, ничего даже не чиркая, ну и ну! И кто — рабочий парень с низшим образованием! Это, дорогой товарищ, просто, я тебе скажу, ну просто, я тебе скажу, — да что тут говорить: сказано — замечательно!

— Что ты, каким единым духом! — поспешил возразить Севастьянов. — У меня раньше придумано было. — Он жаждал похвал, которые мог принять как заслуженные; те, которых он не заработал, были ему тягостны, вымышленными заслугами отодвигалось в тень то небольшое, но единственно важное для него, что удалось ему на самом деле.

На Кушлю его поправка произвела неожиданное впечатление.

— Как раньше? — спросил он. — Ты же не переписывал, черновики никаких не было.

— Правильно, я в голове держал.

— Наизусть, что ли, выучил?

— Ну да, наизусть, только я не учил, оно само как-то запоминается, черт его знает.

— Ну, это, ну, просто... — начал Кушля, качая головой, и не договорил. — И давно это ты?

— Давно уже. — Теперь сознаться в этом было приятно.

— Когда начал писать?

— В декабре месяце.

— О! Давно, — сказал Кушля. — Я только с июня пишу. Чего ж не показывал? Никому не показывал?

— Никому.

— Это интеллигентщина, понимаешь! Как можно не показывать? Что ты кустарь-одиночка?

Тем более — пишешь замечательно, можно сказать великолепно! А вот скажи, — спросил Кушля, — ты когда пишешь, ты всегда до конца пишешь или не всегда?

— Как когда, — ответил Севастьянов. — Иной раз и не до конца. Бывает всяко.

— Я когда пишу, — сказал Кушля, — у меня начало получается, и середина получается, а конец не получается, не дается мне конец. Напишу, понимаешь, середину, а дальше ни с места, ты мне, пожалуйста, помоги, ладно?

Он снова стал похаживать, скрестив руки, и лицо его, по мере того как он вдумывался в случившееся, становилось все торжественней, вдохновенней, праздничней, моложе.

— Что значит талант, — сказал он, — я этого человека вижу, как он сидит на окне и арбуз ест и на станок свой смотрит, с которым в разлуке был, — и это не дело, понимаешь, чтоб талант улицу подметал...

Совершенно искренне он был убежден, что Севастьянов делает в отделении только черную работу.

— Ведь чем дорого, — говорил он дальше, — что вот, скажем, талант у тебя, талант у меня? Сейчас я тебе поясню, чем это дорого. Вот мы вчера были в театре с Ксаней. Сидим назади, а в первых рядах сплошная буржуазия. То боялись, гады, одеться чисто, носили что ни на есть поплоче; а сейчас, понимаешь, золотые часы, серьги это, горжетки, все наружу. А мы с Ксаней, в боевых наших красноармейских гимнастерках, — победители! чувствуешь?! назади сидим и с пятого на десятое слышим, что там артисты на сцене говорят. А душа — она еще не вполне сознательная, душе скорбно, дорогой товарищ, сидеть назади, уступая первые ряды нэпманам. Спроси Ксаню, она тебе то же самое скажет...

— Но ум, — сказал Кушля, блестя ярко-голубыми глазами, — запрещает моей душе болеть. Ум ей говорит: «Не зуди!» — поскольку это не больше как тактика, чтоб из разрухи выйти. А победители все одно мы с Ксаней, а то кто же? — хоть и сидим черт-ти где! Они там нехай нам налаживают всякую бакалею и галантерею, а мы будем развивать наши таланты, потому что не им быть первыми, дорогой товарищ, а нам с тобой...

18

Великая вещь — слово одобрения! Грудная клетка у человека становится шире от слова одобрения, поступь легче, руки наливаются силой и сердце отвагой.

Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобрения!

Поздно вечером расстался Севастьянов с Кушлей. Горели на улицах реденькие огни. Были спущены железные шторы на магазинах. Из темноты возникали люди, приближались, обрисовывались в неярком свете, проходили вплотную мимо Севастьянова, — чудное у него было чувство, чувство новой какой-то своей связи с людьми, чем-то они стали ему несравненно важнее и дороже, чем были, — он еще не знал, чем именно, но чувство это было прекрасно и радостно. Лошадиные копыта зацокали в тишине, извозчик приостановился у тротуара и сказал знакомым голосом: «Садись, Шурка, подвезу», — это был Егоров, балобановский сосед, у которого Севастьянов когда-то ремонтировал конюшню. Севастьянову оставался до дому какой-нибудь квартал, но он сел к Егорову в пролетку и спросил: «Как вы поживаете?» «Живем, хлеб жуем, — ответил Егоров, — а ты как там?» «Я — хорошо!» — от души ответил Севастьянов... Копыта неспешно цокали, удаляясь, он стоял

у своих ворот, он поднимался по железной лестнице, думая: «Вот отлично, что Семка дома и не спит. (В их окне был свет.) Я ему тоже покажу мой фельетон. Что, в самом деле!» Но Семка спал, уронив книгу на пол, закинув худое горбоносое лицо. Севастьянов огорчился, потоптался по комнате, подвигал стулом, даже задал вполголоса дурацкий вопрос:

— Ты спишь?

Ничего не помогло, Семка спал. Севастьянов лег нехотя и долго лежал с открытыми глазами, улыбаясь... Утром проснулся — Семка уже ушел. Да при утреннем деловом ясном свете, в сборах на работу, на ходу, и не стал бы Севастьянов ничего показывать и рассказывать...

— Акопян звонил, — встретил его Кушля, когда он пришел в отделение. Велел тебе к нему ехать. Сразу.

— Не сказал, по какому делу? — спросил Севастьянов а сердце стукнуло: «Вдруг по этому самому?..»

— Не сказал. Нужен, значит. Кидай все и езжай, скоро!

Кушля был взбудоражен и таинствен. «Он звонил Акопяну и говорил обо мне!» — понял Севастьянов. После оказалось, что Кушля звонком поднял Акопяна ночью с постели, расписывая севастьяновские достижения и внушал, что в Советской республике не имеет права талант метлой махать, а обязан талант служить задачам агитации и пропаганды для счастья масс. Акопян, полусонный, терпеливо выслушал и сказал: «Хорошо, я посмотрю» — не очень-то, должно быть, поверил Кушлиной рекомендации. Но в наэлектризованном воображении Кушли все это обернулось таким образом, что Акопян сам позвонил чем свет и потребовал Севастьянова срочно.

Выйдя вслед за Севастьяновым на улицу, Кушля напутствовал его, будто в дальнюю дорогу:

— В добрый час!

В редакции шло своим чередом редакционное утро Акопян, с пером в руке, сидел над гранками и сказал: «Ты ко мне? Посиди минутку», — пришлось сесть смиренно и ждать. Вошел кто-то с хроникой, Акопян стал править хронику. Прибежала машинистка Ляля с перепечатанным материалом, из типографии принесли тиснутую мокрую полосу, Залесский принес рецензию, и они с Акопяном спорили о спектакле, раздался звонок из кабинета Дробышева, Акопян ушел туда и пропал. В окнах стало свинцово — нашла туча, хлынул дождь. Севастьянов слонялся по коридору, видел в открытые двери, как Коля Игумнов, свесив белокурую гриву, трудится над рисунком; как пришел Вадим Железный, его кожанка блестела от дождя, он повесил ее на гвоздик, вынул записную книжку, уселся, придвинул стопку чистой бумаги, обмакнул перо — и его брови поднялись, он оледенел, отрешился от всего, кроме пера и чистого листа... Видел, как под клетчатым серым зонтиком пришла к Залесскому старуха жена, принесла завтрак в корзиночке, как уборщица Ивановна разносила чай на подносе, она и Акопяну поставила среди бумаг стакан жидкого чая. Всегда готов был Севастьянов наблюдать эту восхитительную, высшую жизнь, но в тот день он томился одним ожиданием, ожиданием Акопяна.

Меньше всего было свойственно ему телячье легкомыслие. Он себя урезонивал: «Размечтался!.. Обязательно окажется что-нибудь обыкновенное, самая мелочь может оказаться, не имеющая отношения... С чего на тебя такое свалится, чего ради вдруг тебя возьмут и напечатают, как будто это так просто. Ты вовсе и не нужен Акопяну, видишь — он о тебе забыл, Кушля напутал спросонок». Но какой-то новый Севастьянов, убежденный в своих силах, не хотел признавать резоны, волновался и заносился, изумляя прежнего солидного Севастьянова.

— Брось, ничего Кушля не напутал, притворяешься перед самим собой, не хочешь разочароваться...

— Какое-нибудь редакционное дело.

— Редакционное он бы по телефону передал... У меня удача. Вот тут, в кармане, у меня лежит удача. Как Кушля про нее сказал? Замечательно, сказал, великолепно!

— Ты, брат, ошалел. Похвалили тебя, ты и ошалел.

— Вот посмотришь!..

Но когда Акопян вышел наконец из редакторского кабинета, и они с Севастьяновым сели друг против друга у стола, и Акопян сказал: «Ты говорят, пишешь; покажи», — шалый голос умолк, как не было его; сидел перед Акопяном положительный, несуетливый Севастьянов. У этого положительного Севастьянова пальцы были неловкие, деревянные, когда он доставал листки из нагрудного кармана, и он подумал: «Акопяну вряд ли понравится».

Акопян взял листки и, прежде чем читать, отхлебнул холодного чаю из стакана.

«Ему не понравится».

— Сколько ты классов кончил? — спросил Акопян, уже начав читать и отрываясь, что причинило Севастьянову боль; и, узнав, что Севастьянов окончил два класса приходского училища, покачал головой: — Маловато...

«Ясно, не понравится. Чему там нравится — пишу корову через ять».

Акопян читал, подперев лоб рукой. Севастьянов смотрел на его узкую руку, опущенные веки и думал: «Ужас, и как я решился показать. Ему же никогда ничего не нравится, он все черкает и переделывает, а у меня до того плохо, позорно плохо...»

— Очень приличная зарисовка, — сказал Акопян.

Севастьянов перевел дух. У него губы ссохлись, пока Акопян читал.

— Про рабочего со станком хорошо написано, — сказал Акопян, задумчиво рассматривая Севастьянова своими черными глазами.

«Вот и он говорит, что хорошо, — подумал Севастьянов, и его радость и вера мгновенно вернулись к нему, — значит, в самом деле хорошо, уж кто и понимает, как не он, и какой симпатичный у него голос, как говорит он приятно, и, значит, это называется зарисовка, а не фельетон, правильно, очень подходящее название!»

— Редактор считает, — сказал Акопян, — что тебя следует попробовать на работе в редакции, ты как на это смотришь?

«В редакции, ну конечно! — подумал Севастьянов. — Я это предвидел, я так и знал! Еще утром знал, когда Кушля сказал «в добрый час»... Написано очень прилично. А два класса — что ж два класса, как будто я этим ограничусь, учился на курсах, и на рабфак пойду, и в вуз».

— Ну, так как же ты? — окликнул Акопян.

— Я?.. — Севастьянов прокашлялся. — Я, да... с удовольствием.

Акопян улыбнулся.

— Но имей в виду, заработок на первых порах будет нерегулярный и, возможно, меньше, чем

в отделении. Выдержишь?

— Выдержу.

— Зарисовку твою напечатаем. Придумай заголовок и зайдем с тобой к редактору. — Зарисовка была без названия.

Севастьянов вышел на балкон. Пока они с Акопяном разговаривали, дождь кончился, короткий и бравурный, и опять светило солнце. В выбоинах старого балкона с почерневшей узорной решеткой стояла светлая вода. Внизу играли дети, шли прохожие, двое остановились на углу, разговаривая, — ни у кого из них не было таких ослепительных перспектив, никого так не манило будущее, как манило оно Севастьянова, когда он стоял на балконе, придумывая название для своей зарисовки.

«Я в редакции, вот счастье. Это теперь мое — эти культурнейшие, интереснейшие люди, их занятия и разговоры, вся эта увлекательная жизнь... и этот балкон мой. Внезапный какой поворот... Всегда все главное бывает внезапно?... Это Кушля устроил, я бы разве сам пошел к Акопяну...» Он был навеки благодарен Кушле! Но не за то, что тот похлопотал о его переводе в редакцию. Такую вещь Севастьянов тоже сделал бы для любого товарища... За восхищение он был благодарен Кушле, за признание, за восторженное сияние глаз.

19

Свою зарисовку в газете он без конца перечитывал, она казалась ему чужой и этим притягивала как магнит: он читал и читал, пытаясь удостовериться, что это сочинено им. Напечатанные слова были непохожи на написанные от руки, каждое слово стало выпуклым, громким, его будто вынесли на яркий свет. Севастьянов заметил это сам, и то же сказал ему Вадим Железный.

— Они отпали от вас и зажили отдельной жизнью, не правда ли?

— Да, вроде, — подтвердил Севастьянов.

— Они теперь сами себе господа. Они самоопределились. Им наплевать на вас. Вы властны над ними, только, пока они не напечатаны. Странно?

— Странно, конечно. Потому что я в первый раз...

— Это ничего не значит, что в первый раз. В тысяча первый будет точно так же. К этому диву нельзя привыкнуть. А как вам показалась ваша собственная подпись?

— Да-да-да! — вздохнул Севастьянов.

Его фамилия на газетной полосе била в глаза, как бы напечатанная красной краской; в буквах и сочетаниях букв было что-то удивлявшее Севастьянова, вообще незнакомая была фамилия и чудная. Они с Железным обменялись этими наблюдениями.

— И чем дальше, — торжествующе сказал Железный, — тем она все больше будет абстрагироваться. Она тоже имеет тенденцию к самоопределению. Я смотрю на свое имя в газете и думаю: Вадим Железный, Вадим Железный, кто ж это такой Вадим Железный?.. Не смейтесь! — остановил он повелительно, увидев улыбку Севастьянова. — Это не смешно. Это настоящие открытия. Это больше, чем открыть новую звезду; разве нет?

Он не был похож на тонкого и легкого Мишку Гордиенко в студенческой тужурке с обтрепанными рукавами, того Мишку Гордиенко, что несколько лет назад поставил вопрос о новой орбите для земного шара. Вадим Железный ел бифштексы, занимался боксом, носил кожаную куртку, скрипучий портфель, обожал все кожаное и скрипучее. И он в самом деле был хорошим журналистом и умел писать для простых читателей ясно и горячо, — но от старых бредней не отказался, написал непонятную брошюру под названием «В начале было слово», издал ее за свой счет, и она продавалась в киосках.

— И жить и писать будете, — сказал он, прочитав севастьяновскую зарисовку и поговорив с ним. И попросил наборщика, тот отлил на линотипе, на память Севастьянову, его подпись: «А. Севастьянов». Пластинку серебристого металла с выпуклыми удивительными буквами Севастьянов получил еще теплой, прямо из машины, — и долго она у него была, пока не затерялась.

20

Если поначалу от восторга он маленько занесся, то первая же неделя работы в редакции сбила с него спесь начисто. Его посылали за хроникой в губсовнархоз — он упускал самые важные сообщения. Поручили ему отчет о конференции работников потребкооперации — он добросовестно сидел на скучном заседании и записывал, что говорили кооператоры, а потом оказалось, что, отвлеченный своими мыслями, он не записал какие-то цифры, которые приводил какой-то товарищ, а без этих цифр отчет не годился. Севастьянов бросился разыскивать товарища, разыскивал его по складам и пакгаузам, бешеную деятельность развил, чтобы получить цифры. Когда разыскал наконец, товарищ сказал: «Что ж вы беспокоились, посмотрели бы в стенограмме»... На маленькую заметку уходила уйма времени.

По собственной инициативе Севастьянов написал штук двадцать зарисовок, но из них только одна была помещена, причем Акопян выбросил все начало и переделал конец.

Торчать в редакции развеся уши и упиваться умными разговорами — об этом нечего было и думать. В редакцию Севастьянов приходил, чтобы сдать материал и получить задание от Акопяна. Наскоро просматривал газеты, выпивал стакан чаю и уходил.

Так или иначе — пусть с грехом пополам — он выполнял все поручения и никогда ни от чего не уваливал. Почти в каждом номере шло хоть несколько его строк, по большей части без подписи. Уже в первый месяц он заработал вдвое против того, что зарабатывал в отделении. Но гонорар выдавали редко и по крохам, так что денег у Севастьянова было еще меньше, чем когда он работал в отделении и два раза в месяц получал свою скромную получку.

Если бы не это обстоятельство, он считал бы себя материально устроенным. Они с Семкой наладили свою жизнь. У каждого была кровать, у каждого кружка. Был нож, чтоб резать хлеб и колбасу. Севастьянову хотелось завести примус и кастрюльку: нет-нет сварить картошки и поесть с огурцом неплохо. Но купить было не на что, да Семка и не допустил бы такого обростания, примус был в его глазах принадлежностью обывательского быта, который страшнее Врангеля. Зато на столе, на подоконнике, на полу, всюду у них лежали книги. Семка притащил их из дому и всякую получку покупал еще, а глядя на него, и Севастьянов научился покупать; прежде ему казалось, что глупо тратиться на книгу, раз ее можно взять в библиотеке или у знакомых.

Ведьмы громко злословили за дверью по их адресу. Они ненавидели Севастьянова и Семку. Это была ненависть с первого взгляда. С момента, когда Севастьянов и Семка предьявили



ордер на комнату возле кухни. Три примуса шипели в кухонном чаду, и три ведьмы шипели у примусов. Кто их знает, этих теток, чего они ярились. Должно быть, революция их прижала, вот они и выходили из себя от одного вида комсомольцев. Каких только гадостей они не придумывали, чтобы отравить Севастьянову и Семке существование; ну, не так-то это было просто. Семка молча шурился в ответ на все выпады. Севастьянова иной раз подмывало сказать пару теплых слов поставив вредных старух на место; но и он брезговал связываться. Жертвами своих боевых действий падали сами ведьмы, они худели от злости и лечились у невропатологов.

Дома Севастьянов и Семка бывали мало. Обедали в столовой ЕПО. Если денег было не в обрез, Севастьянов заходил поесть на базар, в обжорный ряд. Там было вкусно, хотя нельзя сказать, чтобы опрятно. Из глубоких кошелок, из промасленного тряпья бабы-торговки доставали жарко дымящиеся чугуны с жирным борщом, приправленным чесноком и перцем, большие коричневые котлеты, сочные сальники с начинкой из гречневой каши и рубленой печенки. На куриных ножках стояли крошечные дощатые шашлычные с распахнутыми настезь дверками, в каждой шашлычной был стол, непокрытый, даже без клеенки, на столе тарелки с нарезанным хлебом и луком, горчица, солонка с оттиснутыми в ней следами пальцев. Шашлык жарился на улице, у входа, на высоких жаровнях, в противнях, полных скворчащего жира, райский запах разливался далеко. Севастьянов любил забежать в такую шашлычную. Любил купить огромный, весь в пурпуровых подтеках, пирог со сливами и съесть на ходу, выплевывая косточки. Любил, купив арбуз, не резать его дольками, а трахнуть им о край стола, чтобы арбуз так и распался в руках на большие неправильные ломти с серебристым налетом на малиновой мякоти, утыканной черными глазастыми семечками...

Другого рода соблазны исходили из «Реноме инвалида». Кафе. «Реноме инвалида» помещалось в доме, где жили Севастьянов и Семка. В витрине красовались торты и синяя ваза с пончиками, напудренными сахарной пудрой. Утром выйдешь натошак за ворота — пахнет свежими пирожными... В этом культурном месте тоже приятно было посидеть в получку, выпить бутылку кефира, чашку чая либо спросить мороженого и есть его ложечкой, запивая газированной водой.

Принадлежало кафе инвалидной артели. Разнообразно прихрамывая, члены артели, в белых курточках, белая салфетка через руку, обслуживали посетителей. В этом же доме, со двора, находились их кладовая и погреб, и при кладовой жил Кучерявый, кладовщик...

— Здравствуйте! — сказал главный инвалид, остановив Севастьянова посреди двора, от инвалида пахло ванилью. — Что вас редко видно, почему к нам не заходите, вы и ваш товарищ?

— Денег нет на пирожные, — ответил Севастьянов шутливым тоном, хотя это была истинная правда — с тех пор, как он жил на гонорар, у него никогда не было денег, и он успел задолжать Семке астрономическую сумму, чуть не два червонца.

— Какое это играет значение! — сказал инвалид. — Ведь вы работаете, если я не ошибаюсь, в редакции? («Ишь, знают», — подумал Севастьянов не без ребяческого удовольствия.) Вы можете кушать в кредит, пожалуйста, почему нет, сделайте одолжение.

— Как в кредит?

— Очень просто, вы кушаете, мы записываем, а в получку рассчитываетесь, обыкновенно так делается.

Так делалось — и тетя Маня, и покойная мать брали в лавочке в долг, но Севастьянову неловко было согласиться, он сказал:

— Да нет, зачем же.

Другой инвалид сделал такое же предложение Семке. Посетители не валили в кафе валом, место было не бойкое; открывая кредит, инвалиды закрепляли за собой клиентуру. Семка сперва тоже отклонил предложение, но в черный день они с Севастьяновым не выдержали характера, пошли в «Реноме» и наелись пирожных и пончиков, и еще там оказались слоеные пирожки, которых они раньше не пробовали, они и пирожков взяли: если кредит, то какая разница — рублем меньше или больше. Инвалиды были очень радушны. На другой день Севастьянов и Семка уж прямо отправились в «Реноме» завтракать, пили кофе с булочками. Вечером, возвращаясь из редакции, Севастьянов помедлил секунду перед задушевно освещенной розоватым светом витриной, потом подумал: «Ничего страшного нет, рассчитаемся». Вошел и первым делом увидел Семку, тот сидел за угловым столиком и, щурясь от стеснительности, жевал ромовую бабку. Они стали буквально купаться в роскоши, бывали дни, когда они харчевались у инвалидов по три раза, изобретая всевозможные комбинации пирожков, булочек, пончиков и пирожных с чаем, кефиром, какао, простоквашей, кофе со сливками, кофе с лимоном, кофе по-варшавски, кофе по-турецки и просто черным кофе.

— Мы катимся в пропасть! — сказал Семка после получки.

Он получил зарплату за полмесяца, и Севастьянову выдали часть его заработка, и все пошло в уплату долга инвалидам.

— Остается одно, — сказал Семка трагическим басом. — Продолжать пользоваться кредитом. Выхода нет.

Теперь они полностью столовались в «Реноме». Все другое стало им недоступно, потому что у них не было наличных денег. Вначале от неограниченного кредита в них развились жадность и цинизм. Они пожирали громадное количество сдобной пищи, неслыханные и стыдные количества: кажется, за все свое прошлое и на все свое будущее наелся Севастьянов сладкого; и при этом как миллионерам, как каким-нибудь Рокфеллерам, им было наплевать, сколько эта пища стоит. Допив чай, они могли тут же приняться за какао. Приводили в «Реноме» знакомых и щедро угощали. С горя устраивали состязания — кто больше съест пирожных.

Но скоро их стало мутить от кондитерских запахов. Они почувствовали отвращение к сладкому. Огорчая инвалидов, целую неделю пили одно молоко, к молоку приносили в кармане житного хлеба. Им мерещились запахи жареного лука, мяса, селедки. Севастьянов видел во сне огненный борщ и сальники с гречневой кашей. Баррикада справляла день рождения. Они ей принесли в подарок торт; но когда она стала резать его и угощать, они простились и ушли, это было выше их сил.

— Знаешь, довольно, — сказал Севастьянов. — Ну ее к богу, такую жизнь. Я придумал.

Он взял ссуду в кассе взаимопомощи. Они расплатились с инвалидами, ринулись в столовую и заказали столько мясных блюд, что официант подумал они его разыгрывают.

Было трудно выплачивать ссуду; но эти трудности не шли ни в какое сравнение с тем рабством, которое они испытали, пользуясь кредитом в «Реноме».

Семка всегда был слабосильный, а последнее время очень уставал на работе. Работал он инструктором в губбюро ЮП, юных пионеров, — Севастьянов не понимал, с чего ему уставать... Когда пошли осенние дожди, Семка все время ходил в мокрых ботинках — калош у них не водилось, — чихал и кашлял. В конце концов сходил в амбулаторию, оттуда послали его в тубдиспансер, и там сказали:

— Неважно дело, надо в санаторий, жиры надо есть, как можно больше жиров.

— Я, — сказал Семка, — ем сплошные жиры.

Они в это время кормились у инвалидов.

Докторша велела измерять температуру и принимать порошки, а курить запретила под страхом смерти.

Курить Семка не бросил, но градусник купил и ставил его себе по вечерам. Докторша велела чертить кривую. Семка чертил и расстраивался, от расстройства ему делалось хуже.

В разных книгах описано, как болеют чахоткой. Семка знал, что это значит, если температура каждый вечер — тридцать семь и пять. Знал, что у чахоточных бывает кровохарканье; и, кашляя, прижимал платок к губам и потом взглядывал на него с ужасом.

Но как-то зашли Электрификация и Баррикада. Говорили, по обыкновению, обе сразу, хохотали до слез, махали руками, смахнули градусник со стола и разбили. Семка расстроился, но, прожив несколько дней без градусника, увидел, что так спокойнее, и перестал заниматься своей температурой.

А так как кровохарканья все не было, то он решил, что чахотка — не такая уж страшная болезнь, чтоб из-за нее паниковать. И он стал относиться к ней наплевательски. Порошки, которые ему дали в диспансере, подмокли, лежа на подоконнике, и он их выбросил в мусорное ведро.

Огорчало его только то, что ему запретили посещать пионерские сборы.

В ноябре сыпал мокрый снег, мели мокрые метели, без передышки мело и таяло, на мостовых ледяная кофейная жижа стояла по щиколотку. Семка расхворался, доктора уложили его в постель. Ребята его проводывали, носили ему книги, и Женя Смирнова зашла, сказала, что Югай обещал выхлопотать Семке путевку в Крым. «Я его просила», — сказала она и покраснела, как девочка. Она была председательница губбюро ЮП, Семкино начальство, на шее у нее был пионерский галстук. Револьвер она уже не носила.

Пришел и старик Городницкий, каким-то образом узнав о Семкиной болезни.

Он пришел с парадного хода и спросил у отворившей ему ведьмы:

— Пардон, мадам, здесь живет молодой человек Городницкий, Семен Городницкий, мой младший сын?

На нем были гетры, пушистое пальто, кепка из той же материи, что и пальто. Пахло от него дорогими папиросами и дорогим мылом.

Ведьма глянула и побежала, указывая дорогу. Он величественно прошел по коридору в кухню и тростью постучал в облупленную дверь.

— Семка, — сказал он входя, — это же анекдот...

Семка лежал и читал, держа книгу на поднятых коленях. Колени остро торчали под одеялом.

— Ей-богу, анекдот, — повторил старик Городницкий, взял стул и сел, отдуваясь. — Что ты хочешь доказать? Я ничего не понимаю. Комсомолу будет хорошо, если ты подохнешь от чахотки? Советской власти будет хорошо? Мировая буржуазия передохнет вместе с тобой? Молодой человек, — повернулся он к Севастьянову, — вы, кажется, Шура, да, Шура... Объясните мне, для чего надо, чтобы он валялся в этой кошмарной комнате, — пардон, ведь кошмарная, согласитесь... Чтобы доказать, что он не принадлежит к классу эксплуататоров? А без этого вы ему не поверите, что он не принадлежит к классу эксплуататоров?

Он пригнулся к Семке:

— Я не допускаю мысли, чтобы в твоём уходе сыграла роль моя женитьба, ведь нет — нет? Софья Александровна — приличная женщина, преданная женщина, и я же нуждаюсь в заботе, я не в состоянии жить так, как живете вы. Ведь у меня никаких ресурсов! Немножко было валюты, так и ту забрали в двадцатом году! Чтоб вы знали, Шура, я тоже никогда не принадлежал к классу эксплуататоров! Никогда не имел наемной рабочей силы, кроме кухарки и горничной! Я был служащий, вам понятно? Не я нанимал, а меня нанимали, вам понятно? Брокер нанимал меня, чтобы я распространял его парфюмерию! Вы молодые идиоты. Если человек надел приличный костюм, так он уже, по-вашему, буржуй. А я, чтоб вы знали, безработный пролетарий. Да: пролетарий. И да: безработный! А что я должен, я привык, вам понятно — я всосал с молоком матери, я не могу одеваться неприлично, — так я буржуй?!

Он посмотрел на Семку, на узкую его кровать, провисшую наподобие гамака, и сказал:

— О боже. Без пододеяльника.

И прикрыл глаза пухлой белой рукой в коричневых крапинках.

— Семка, — сказал он потом, — ну хорошо, ты ничего не хочешь слушать, ну хорошо — отрекись от меня через газету. Многие отрекаются через газету, что ж, это всех устраивает. Отрекся, а на чьи средства ты там дальше существуешь — кого это может интересовать? Дай объявление, что с такого-то числа не имеешь со мной ничего общего, и делу конец. Хочешь, я завтра отнесу твоё объявление?

— Батяка, — сказал Семка суровым басом, — ты действительно ничего не понял, сколько я тебе ни втолковывал. На кой черт мне отрекаться через газету? Для моей партийной совести необходимо, чтобы я вошел в новую жизнь свободным от всяких буржуазных пут.

— Партийной совести? — переспросил старик Городницкий, слушавший со вниманием. — Так ты уже, значит, партиец? Можно поздравить?

— Нет, я только комсомолец, — ответил Семка, — но совесть и у комсомольца партийная.

— А! — сказал старик Городницкий.

— Ты зря беспокоишься, — продолжал Семка. — В чем дело, собственно? У меня есть все, что нужно.

— Вижу, — сказал старик Городницкий, — вижу... А в чем выражались буржуазные пути?

— Мне достанут путевку. Поеду в санаторий.

— Санаторий — это тридцать дней. Для этой проклятой болезни надо, чтобы каждый день был как санаторий. Чтоб был режим, чтобы ты дышал кислородом, а не этим кошмаром... Я пришлю тебе подушки. Это ж не подушка — то, что у тебя под головой.

— Я как раз обожаю такое, как у меня под головой. Как раз подушки мне совершенно излишни.

Они не договорились ни о чем.

Конец разговору пришел, когда старик Городницкий сказал:

— Я из-за вас отказываюсь от первоклассных предложений, из-за тебя и Ильи. Я имею знаешь какие предложения!.. Организуются частные предприятия. Меня приглашают в пайщики. Но я не хочу вам вредить, не дай бог. Я хочу быть государственным служащим и получать жалованье от советской власти. Зачем я стану портить жизнь моим детям?

— Этот разговор, — сказал Семка, — я считаю беспринципным. Беспринципным и отвратительным.

Он разволновался и раскашлялся. Старик Городницкий очень испугался его кашля и заторопился уходить. Его руки дрожали, когда он застегивал пальто.

— Шура, — сказал он, — проводите меня, там где-то мои калоши... Шура, — спросил он, надевая калоши, — что, он часто так кашляет? А нельзя его пока устроить хотя бы в ночной санаторий, я читал, что открыли ночной санаторий...

— Это при фабрике Розы Люксембург, — сказал Севастьянов, — только для табачниц.

— Вы подумайте, — сказал старик Городницкий, взяв его за грудь косоворотки, — дома он спал на хорошем диване. Кругом стояли фикусы. Боже мой, я бы сию минуту привел извозчика... Слушайте, давайте так: вы ему скажите, что он сумасшедший, а я приведу извозчика.

— Он же все равно не поедет, — сказал Севастьянов.

— Вы считаете — не поедет?

— Ни за что не поедет.

— И вы считаете — он прав?

— Да. Я считаю — прав.

— Ну хорошо, — сказал старик Городницкий, — а вам не приходит в голову, что у него же заразная болезнь, и он на вас кашляет и дышит, и вы, вы лично в опасности каждую минуту, это вам не приходит в вашу голову?!

Но Севастьянов чувствовал в себе здоровья и жизни на сто лет. Он только улыбнулся.

— Носятся с принципом! — горестно сказал старик Городницкий. Носятся с принципом, когда речь идет о жизни и смерти. Как будто могут быть какие-нибудь принципы, когда речь идет о жизни и смерти.

Пока они разговаривали, в передней то одна открывалась дверь, то другая, и выглядывали благодушно улыбающиеся, полные расположения лица ведьм. Расположение и улыбки относились к старику Городницкому, к его гетрам, трости и превосходному запаху.

Одна из ведьм потом сказала Семке с неожиданной любезностью:

— Какой у вас интересный папа. Вы, оказывается, из хорошей семьи...

В ту осень и зиму Севастьянов принадлежал еще себе.

Он не берег свою свободу, не замечал ее — жил: работал в редакции и в ячейке, читал, ходил бесплатно в театр по запискам Акопяна. Ухаживал за Семкой, когда тот сваливался. Играл с Колей Игумновым в шахматы.

Любовная буря надвигалась на него — он не подозревал, ходил вольный, краснел, поймав на улице женский взгляд, несколько чопорно сторонился заигрываний толстенной машинистки Ляли.

Такой независимый был он, чуточку одинокий среди парочек, которые норовили уединиться и целоваться. Он не хотел целоваться просто так — без пламени, без мечты, без преодоления, во время киносеанса или за редакционной дверью; и потом выслушивать шуточки.

Вышло — будто он берег себя для бури, которая надвигалась.

Ну что ж. Он рад, что вошел в этот циклон чистым.

Зойка маленькая тоже выглядела немножко одинокой среди влюбленных пар.

Она поступила на педфак и держалась очень строго — будущая учительница — Севастьянов уж не рисковал брать ее за руку, как прежде. Ей сшили темно-синее платье с круглым белым воротником и рукавами в виде баллонов, милое платье, Зойка сфотографировалась в нем и подарила карточки приятелям, на этой карточке у нее совсем детская шея и детское, нежно-покатое плечо...

Они виделись не часто, по вечерам Зойка занималась, в редакцию они с Зоей больше не приходили. И как-то он отдалился от Первой линии.

Он ведь был занят не меньше Зойки, сотрудникам редакции случалось работать по двенадцать и четырнадцать часов в сутки, и они не жаловались, наоборот, щеголяли своей занятостью и неутомимостью... Предприятия возвращались к жизни; открывались новые; Севастьянов шел то на одно, то на другое и писал, как они работают. После разрухи — удовольствием и гордостью было опубликовать, что, скажем, на чугунолитейном отлили в ноябре столько-то кухонных плит, а швейпром сшил столько-то пальто. Дробышев требовал, кроме того, описаний трудовых процессов, он хотел поднять у читателей интерес к производству и технике.

...Вспомнить сейчас нетопленные, с выбитыми стеклами цехи, ветхие шлепающие ремни в заплатках и швах, как старая конская сбруя; тесные кочегарки, где двери отворялись прямо во двор, на холод; дворы, потонувшие в грязи и ломе...

А вот двор бывшего дома Хацкера. Он без ворот — нараспашку; каменная ограда разобрана во многих местах. Дом построили перед войной; шестиэтажный, он казался очень высоким, потому что вокруг были небольшие, приземистые дома, они как бы лепились у его подножья. В девятнадцатом году в доме Хацкера помещался белогвардейский штаб. Когда Красная Армия брала город, в дом попал снаряд, и случился пожар, остались только наружные стены. Высокий узкий коробок без крыши, с пустыми оконными проемами верхних этажей — сквозь них было видно небо — мертвенно маячил в конце длинного Мариупольского проспекта над спуском к реке, над пустыней бездействующего лесопильного завода.

Севастьянов входит в этот двор. Завтра ночью Севастьянову предстоит вместе с милицией прийти сюда на облаву; он хочет при дневном свете увидеть места, которые должен будет описать. В доме Хацкера, под развалинами, под прахом, свила гнездо шпана, отсюда

бандиты по ночам ходят на промысел.

Двор завален битым кирпичом, битой штукатуркой, всякой дрянью. Везде торчат — то сгнивший лоскут, то черепок, то гнутый, рваный кусок кровельного железа, проеденный ржавчиной. За четыре года, оседая под дождями, смерзаясь от морозов, мусор стал твердым, словно утрамбованным, и весь блестит, как уголь, от осколков стекла. На самой большой куче вырос куст репейника — не страшась осеннего холода, растопырил среди дряни свои колючки и цветет красно-лиловыми хищными цветами. «Я напишу и про репейник», — думает Севастьянов и чувствует мимолетную радость оттого, что он это напишет.

Он стоит у пролома в той части ограды, что обращена на реку. Здешние улицы идут уступами: город скатывается к реке. У себя под ногами Севастьянов видит крыши, трубы, сараи, дворики с развешанным тряпьем. Уступом ниже расстилается двор лесопильного завода, он будто метлой выметен — все до последней щепочки унесли люди, что могло гореть и дать тепло... Еще ниже — тяжелая и серая, как ртуть, течет под широким небом река, дальний берег — песчаный, низкий, ближний — черный от штыба, тут проходит железнодорожная ветка; паровозик тонко закричал, сверху его не видно, но кудрявые круглые облака отмечают его путь вдоль реки. А повыше где-то, между этими облаками и глядящим на них с высоты Севастьяновым, скрипнула на петлях калитка. И этот звук был чуть ли не такой же громкий, как крик паровоза. И все это были мимолетные прекрасные радости, одна за другой. Сквозь радость что-то думалось хорошее, созидательное — что завод будем пускать и дом будем отстраивать, и вообще все самое лучшее впереди, — газетная работа приучила думать созидательно...

Глубокой ночью он опять шел в эти места — с отрядом милиции. Сапоги милиционеров глухо топали по мостовой. Светила луна.

Дом Хацкера окружили с четырех сторон, главная засада находилась на лесопилке, через которую шпана обязательно будет тикать, как объяснил Севастьянову маленький разговорчивый милиционер Шечков.

С Шечковым и другими Севастьянов вошел в дом через забаррикадированный, замаскированный вход, днем он этого входа не заметил. Они спустились в подвал по расшатанным каменным плитам. Милиционеры светили себе карманными фонариками и держали пистолеты наготове.

Узким коридором двигались они в глубь разрушенного здания. По стенам разбегались глазки света от электрических фонариков, пахло аммиаком и сыростью. Коридор сворачивал в неизвестность, в неизвестности осветились косые ступеньки винтовой лестницы.

Сверху ударил выстрел; забухала перестрелка. Милиционеры впереди затоптались, кто-то сказал: «Дорогу, ну-ка», и два милиционера пронесли назад к выходу своего товарища, а другой раненый шел сам, рукой зажимая плечо. Оставшиеся поднялись по лестнице — больше оттуда не стреляли — и пошли по комнатам, обшаривая фонариками потемки и в потемках мокрый след, кровавый след на полу.

В одной из комнат было громадное роскошное зеркало, и все они, проходя, невольно посмотрели в это зеркало, в его пыльной глади их отражения прошли как в мутной воде... В другой комнате сидела на полу, раздвинув ноги, женщина, десяток светлых глазков уперся в нее, она вскинула им навстречу дерзкое молодое лицо с прикушенной губой.

— Дьявол, дура малахольная, — сказал ей Шечков. — Куда ранена?

— В ногу, — ответила она сквозь зубы.

В кружке света, у подола ее юбки, лежал браунинг, его подняли, он был еще теплый.

— Женчину подсунули вместо себя под пули, ну сволочи! — сказал Шечков с удивлением. — Ладно, жди, заберем. Сейчас некогда.

За стеной раздался стук, сильный и короткий, от него дрогнул пол. Потом над головой послышалось медленное шуршанье — течение, оползание каменных масс... Женщина засмеялась со стоном. Вдруг распахнулась, выдохнув тучу пыли, дверь в следующую комнату, оттуда посыпались, заскакали куски кирпича.

— Завалили! — крикнул Шечков. — Тикай на двор!

Преследуемые шелестом — казалось, каменный поток течет над потолком, — они поспешили назад, мимо мутного зеркала в поблескивающей искрами раме, по винтовой лестнице в подвал, узким коридором к выходу, серебряно и неподвижно озаренному луной. Выстрелы били внизу, на лесопильном заводе, Шечков исчез куда-то, и Севастьянов наугад побежал через знакомый пролом забора вниз, на звук выстрелов, к событиям. Он бежал по схваченному ночным морозцем переулку между низенькими домиками, рядом бежал догнавший его Шечков и азартно говорил на бегу:

— Вы поняли нашу стратегию, у них подземный ход аж до Пильщицкой, они нас тут отрезали, а мы их встретили с того конца!

Пока они бежали, луна ушла за тучу, стало темно. Стрельба удалялась, она была уже на невидимом берегу, у невидимой реки, справа и слева и все дальше и дальше... Час спустя на Мариупольском перед домом Хацкера построилась окруженная конвоем шпана, которую захватили при облаве. Их построили парами, и они стояли в настороженной недоброй покорности. Они закуривали; зажигалка освещала черные, как у угольщиков, лица и чудовищные космы. Только несколько человек было задержано хорошо одетых и чистых, то были главари, аристократия малины; их увели отдельно, среди них, кстати сказать, обнаружился знаменитый Королек, рецидивист, которого искали по всей России.

Об этом ночном деле Севастьянов написал очерк, и туда он вставил свое предложение, мысль, которая пришла ему в голову, когда он днем, перед облавой, приходил поглядеть на дом Хацкера. Он предложил устроить субботник и очистить от хлама это темное место, а затем отстроить дом заново, силами профсоюзов, на кооперативных началах. Очень дружно была подхвачена эта мысль, и уже недели через две начались работы, они продолжались много дней, выходили на них предприятиями и целыми профсоюзами. До самых глубин разобрали бандитское гнездо. Заделали подземный ход. Очистили двор. Нашли склады награбленного — одежду, меха, женские сумки, мужские бумажники, золотые вещи, в том числе золотые зубы; револьверы всевозможных систем и огромное количество часов, ручных и карманных.

23

Вечером того дня, когда был напечатан очерк о доме Хацкера, вдруг пришли Зои.

— Ты подумай, он цел и невредим! — сказала большая.

— Неужели цел и невредим? — спросила маленькая.

— По-моему, да, — сказала большая.

— Да не может быть! — сказала маленькая.



— Здравствуй! — сказали обе и протянули теплые руки.

Такие свежие они были и оживленные — Севастьянов вдруг обрадовался им, как сестрам.

— Почему вас удивляет, что я цел и невредим?

— Мы думали, тебя бандиты подстрелили, — сказала большая.

— Мы были уверены, что ты весь продырявлен пулями, — сказала маленькая.

— Такими ты расписал красками.

— Да уж, знаешь! У тебя там столько стреляют — просто удивительно, что кто-то оттуда ушел живым.

Глаза у Зойки маленькой сияли и смеялись.

— А где же Сема? — спросила она. — Мы, собственно, зашли его навестить.

Она положила на стол кулек с апельсинами.

— Он в клубе, наверно, — сказал Севастьянов. — Он уже на работу ходит.

Он не понял ничего. Честно поверил, что они пришли проведать больного Семку, а он, Севастьянов, лицо в данном случае второстепенное и неважное, случайно оказался дома и подвернулся под их шуточки.

«И знаешь: я не виню себя, что верил честно; таков я был тогдашний и не могу себя в этом винить. Что ты мне сказала, то я и принимал на все сто процентов; к Семке — значит к Семке, какое могло быть сомнение. Мужской самоуверенности во мне ни капли не было; и хоть жизнь с детства, случалось, била без жалости и тыкала во что угодно, но душой я был доверчив; очень! Откуда было взять мне столько самоуверенности и самодовольства, чтобы подумать, что ко мне ты бежала в женской тревоге, бежала увериться собственными глазами, что я жив-здоров, не ранен, не поцарапан? Подумать, что мною зажжено и ко мне обращено твое сияние?.. Как мне, маленькая, осудить себя за доверчивость? За то, что видел в твоих словах только один смысл, а второго смысла не искал? Таким я был и, значит, иным быть не мог, не с чего было мне быть иным...»

Зоя большая улыбалась, глядя на них, сидела и улыбалась ласково и весело, она стала прямо-таки неправдоподобно красивой. Севастьянов сказал невольно:

— Ты ужасно красивая стала.

— Да, — подтвердила Зойка маленькая и посмотрела на подругу долгим взглядом, — она невозможно красивая. Ей трудно жить, до того она красивая.

— Глупости, — сказала большая Зоя. — Почему трудно, наоборот... Знаешь, Шура, я буду учиться в балетной группе.

— Ее принимают за красоту, — грустно сказала маленькая.

— Да, — беспечно сказала большая, — у меня нет способностей. Не понимаю почему, ведь вальс, например, я танцую неплохо, и походка у меня легкая, правда? А они говорят — нет способностей. Но все равно принимают. А ты говоришь — с красотой трудно жить.

Она вытянула ноги и поиграла кончиками туфель. Длинные ноги в туго натянутых черных чулках...

...Длинные голые ноги в балетных розовых туфлях. Ленты развязались на туфле. Зоя большая сидит на полу и, вытянув длинные голые руки, завязывает ленты. Она аккуратно скрещивает их на щиколотке и продевает в петельку, и по ее сосредоточенному блестящему взгляду и приоткрытым губам видно, до чего ей нравятся эти розовые туфли с лентами, как она ими восхищена и занята.

Ее темные кудри убраны в сетку, вместо платья на ней балетная пачка, накрахмаленная коротенькая пачка из белой марли. На голой нежной спине цепочкой проступают позвонки.

— Я буду танцевать характерные, — говорит она Зойке маленькой и Севастьянову, стоящим над нею.

Это происходит в клубе совторгслужащих. Пол, на котором сидит Зоя, завязывая ленты на туфельке, — не просто пол, а серый пустынный настил театральной сцены. Горит висючая лампа в колпаке из жести, конус ее света устремлен на них троих. В квадратном окошечке в глубине сцены, под потолком, мутно голубеет дневной свет. Там, под потолком, путаница деревянных перекладин, канатов и блоков, внизу — плоская серая гулкая пустыня, а занавес поднят, и пустой темный зрительный зал смотрит на сцену, отсвечивая в темноте лакированными спинками стульев.

Как Севастьянов там очутился? Кажется, Зойка маленькая его привела. Кажется, большая Зоя зазвала их — покрасоваться перед ними в новых одеждах и новой увлекательной обстановке. С этой сцены она собиралась показывать себя, чтобы оттуда, из зала, на нее смотрела тысяча глаз.

Зойка маленькая сказала, поживаясь, — было знобко даже в пальто:

— Ужасно неуютно!

Даже в пальто было холодно, а Зоя большая сидела у их ног в пачке, полуобнаженная.

— Неужели тебе нравится? — строго и огорченно спросила у нее маленькая.

Большая покончила с завязками и поднялась, легкая, во весь рост. Бесшумным шагом шла она рядом с Севастьяновым и Зойкой маленькой, показывая им сцену, артистические уборные, задние комнаты клуба, закрытые для публики. С ребячьим простодушием она хвастала тем, что она тут свой человек, не посторонняя. Ее брат служил здесь завхозом, он помог ей устроиться в балетную группу, не так-то просто было туда попасть. Это был самый богатый клуб в городе, бывший театр «Буфф».

Они всходили по отвесным лесенкам, заглядывали в люки, приостанавливались перед развешанными полотнищами и реквизитом, на мгновение заинтересованные то макетом бронемшины, то декорацией, изображавшей средневековый замок, то настоящей, вышитой темным серебром церковной хоругвью, попавшей сюда из какой-нибудь закрытой церкви.

Потом большая Зоя приоткрыла перед ними дверь в комнату, где десяток белых пачек и два десятка розовых туфель под звуки рояля делали одинаковые движения и молодецкий голос считал: «...и раз, и два, и три, и...» Потом Зоя сказала, что ей тоже надо идти заниматься. Она стояла на площадке, пока Севастьянов и Зойка маленькая спускались по белой лестнице в вестибюль. Сумерки надвинулись, окно на площадке было как синькой подсиненное. Севастьянову вспомнилось, как она стояла на другой площадке, у другого окна, черного от грязи, какое у нее было узкое детское пальтишко и кроткие встревоженные глаза и как он поднял ее платочек...

Он вышел с Зойкой маленькой из клуба и наткнулся на Спирьку Савчука, тот стоял у самой двери, читая афишу.

— Здоров! — дружески сказал Севастьянов. Но Спирька сделал вид, будто не видит их, повернулся к ним спиной и пошел прочь.

— Не трогай его, — сказала Зойка маленькая. — Он сходит с ума от ревности.

— К кому?

— Ко всему миру и к нам с тобой в том числе.

— Почему к нам с тобой?

— Ты же знаешь, как он относится к Зое.

— Ну да; но при чем тут мы с тобой?

— Он ведь понимает, что мы идем от Зои.

— Так что ж такого?

— Ровно ничего; но он ненормальный.

Они поговорили о ревности и осудили это собственническое чувство, унижающее человека.

— Чудовище с зелеными глазами, — сказала образованная Зойка.

— Буржуазная отрывка, — сказал Севастьянов.

Впрочем, они дружно пожалели беднягу Спирьку, прикованного в сумерках к клубной афише. Их изумляло, что этот самолюбивый задиристый парень, левак и драчун, в любви оказался таким слабым и отсталым, таким — до огорчения — мещанином. Вместо того чтобы гордо отойти раз и навсегда, он отрывался от большой Зои и опять возвращался, грыз ее, ссорился с ней, мирился и умолял идти с ним в загс. Он не просто добивался взаимности, ему загс непременно понадобился, ему требовался законный брак.

24

Ревность ли была тому причиной или что другое, но ужасно высокомерно стал держаться Савчук с ребятами из прежней своей компании. Они теперь с ним встречались редко; но каждому в эти встречи он норовил сказать что-нибудь неприятное — с удовольствием говорил, со злобой.

Леньке Эгерштруму он сказал, что рабочие посадочной мастерской, собственно говоря, не пролетариат, а кустари, собранные под одной крышей, у них и мироощущение индивидуалистическое, и образ жизни обывательский. Ленька Эгерштрум, комсомолец, у которого старший брат был коммунист, обиделся насмерть.

Семка Городницкий старательно делал свое дело, он боролся со скаутизмом. Многие пионервожатые в недавнем прошлом были скаутами, и они протаскивали скаутские методы в работу, а Семка Городницкий, как инструктор губбюро ЮП, с этим боролся. Он не знал, как

надо работать, — пионерская организация была только что создана; вряд ли сам он сумел бы руководить отрядом, если бы ему это поручили; но как

не надо работать — это он своей комсомольской головой понимал и, когда был здоров, не

щадя себя мотался по пионерским сборам, выискивая, не пахнет ли где вредным скаутским духом. И это его рвение Савчук тоже обхамил, сказав, что Семке из самого себя еще надо вытравить классово-подозрительные вкусы и привычки, прежде чем учить других революционной линии поведения. Семка побледнел и не нашелся что ответить, а Спирька смотрел на него с жесткой усмешкой на желтом желчном лице малярика.

С гвоздильного завода Спирька ушел и работал на плужном, где секретарем комсомольской ячейки был Ванька Яковенко. Они сблизились: раздражительный непримиримый Савчук и аккуратный, выдержанный, дисциплинированный Яковенко. Что они нашли друг в друге общего?

Раз вечером Севастьянов их обоих повстречал у Югая, в общежитии для ответственных работников. Общежитие помещалось в бывшей гостинице; там были длинные коридоры и нумерованные двери; по коридорам ходили, размахивая швабрами, уборщицы в красных платочках. Здесь жили неженатые, жили и бездетные пары. Подходя к комнате Югая, Севастьянов слышал громкий разговор, выделялся Спирькин голос. Севастьянов вошел — они замолчали, поздоровались рассеянно. Кроме Спирьки, Ваньки Яковенко и самого Югая тут была Женя Смирнова, она сидела на кровати и курила, пол у ее ног был засыпан пеплом. Севастьянов спросил:

— Вы чего, ребята, замолчали?

— Мы о будущем говорили, — сказал Яковенко, — фантазировали. Ты Елькина слушал? — Елькин читал по клубам лекции о бытовом раскрепощении женщины, бытовых коммунах, общественном воспитании детей и свободе любви.

— Нет, не слушал, а что? — спросил Севастьянов. Будущее живо его интересовало. И он устроился как мог на спинке кровати — больше сесть было некуда.

— Так, у нас насчет хрустального дворца голоса разделились, улыбаясь ответил Яковенко. — Савчук и Женя за хрустальный дворец, а мы с Югаем за что-нибудь попрочнее.

— Иди ты с хрустальным дворцом, — проворчал Спирька.

— А почему не хрустальный? — спросила Женя. — Почему, действительно, не приучать человека к прекрасному с малых лет, Елькин прав.

— Я у бабки с матерью без хрусталя живу, — заметил Яковенко, — и ничего.

У него было ясное красивое лицо и серые холодноватые глаза, весь он был такой основательный.

— В семье ребенок растет собственником, — сказала Женя, стряхивая пепел с папиросы. — Мой отец, моя мать — с этого он начинает. Дальше больше: моя книга, моя коллекция. С хрусталем, без хрусталя, все равно ему прививают эти инстинкты. В большей дозе или меньшей, но прививают. Кроме того, он вынужден приспособливаться к взрослым и врать им. Можем ли мы даже в пионерской организации — вырастить его стопроцентным коммунистическим человеком?

Севастьянов прикинул: было ли у него когда-нибудь собственническое чувство по отношению к родственникам? Он, когда был маленький, удирал от них на улицу, там была вся его жизнь, весь интерес, а они хоть и попрекали его этим, но в глубине души были довольны, что он не путается под ногами. Врал он им, конечно, порядочно... Да, возможно, он был бы лучше, если бы его вырастили в хрустальном дворце, без участия тети Мани и дядьки Пимена.

— А сад возле дворца будет? — спросил он.

— Разумеется, — ответила Женя, — сад, площадки, лодки, все условия... Но насчет посещений Елькин перегибает. По воскресеньям надо разрешить родителям проводить детей.

— Воскресений не будет, — сказал Севастьянов.

— Ну да, то есть по пролетарским праздникам.

— Пролетарских праздников, наверно, тоже не будет, потому что пролетариата не будет. Классов не будет.

— Ну да. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Какие-то дни отдыха ведь останутся... Ах, ну да. Поскольку труд перестанет быть тяжелой необходимостью — может быть, не будет и дней отдыха? Поскольку не от чего будет отдыхать...

Югай и Спирька Савчук сидели хмурые по углам и молчали. Яковенко, сцепив руки на колене, осторожно поглядывал то на одного, то на другого. А между тем, подходя, Севастьянов слышал их спорящие голоса. Тут дело не в воспитании детей, подумал он, в другом чем-то. Не для того ли Женя Смирнова так словоохотливо все это говорила, чтобы разрядить конфликт, нависший в воздухе?

— Но если родители, — сказала она, — станут посещать своих детей в любое время, неорганизованно, когда кто захочет...

— Женя, — прервал Яковенко нетерпеливо и рывком расцепил руки; но тотчас подобрался и заговорил спокойно, твердо глядя Жене в глаза своими серыми глазами. — Ты можешь успокоиться. И ты, и Елькин. Никто не захочет посещать своих детей, из вашей же установки это вытекает. У вас какая установка? Что у родителей совсем не будет представления, что вот это мой ребенок, а это чужой. Значит, не будет и чувства, что ему обязательно нужно видеть своего ребенка. Он же, по вашему тезису, и знать не будет, что такое свой ребенок. Этот инстинкт у него отомрет. Для него все дети будут одинаковы.

— И что же, и очень хорошо, — сказала Женя. — И ты очень ошибаешься, что он не захочет их видеть. Он будет проводить всех детей вообще, как коллективист. Ты заметь, как взрослые любят смотреть на детей. Как они с тротуара смотрят, когда идет отряд. Или когда детский садик выводят гулять... Разница в том, что чужие дети станут каждому еще ближе, потому что он не должен будет думать, например, что у него где-то дома лежит собственный больной ребенок.

— Но большой вопрос, — возразил Яковенко, — скажет ли он тебе за это спасибо.

— Большой вопрос, — медленно сказал Югай, — что он вообще скажет, трутень, выросший под колпаком в хрустальном дворце. Он такое может сказать, что ого!

— Что вы к хрустальному дворцу привязались! — крикнул Спирька. — Я дворец не в том смысле привел! Я в том смысле, что рабочий класс за свою кровь и страдания обязан получить все самое лучшее, вот!

— Спокойней, — сказал Яковенко, — а то все общежитие сбежит.

— Это что за категории такие христианские, — спросил Югай, — это что за евангельские слова: страдания! Не отучишь вас мыслить рабскими понятиями. Еще скажи: мученический венец.

Он был по-домашнему — в рубашке, заправленной в брюки, в расстегнутом вороте рубашки виднелись жесткие смуглые ключицы.

— А что, крови не было, да? — спросил Спирька. — Девятое января не отмечаешь, да? При чем тут Евангелие?

— При том, что пролетариат России капиталистическую гидру положил на лопатки! — сказал Югай. — И это самый грандиозный факт истории, а наши пропагандисты, как попы, ноют про страдания и кровь! Сколько лет в одну дуду: кровь, кровь... Проливалась рабочая кровь. Боролись, ну и проливалась. И еще прольется.

Как будто может быть борьба без крови, — заметил Яковенко.

— Подумаешь, без хрустального дворца коллективиста не вырастить! — продолжал Югай. — А революцию кто делал, индивидуалисты?! Коллективисты в борьбе растут, а не во дворцах.

— Именно! — сказал Яковенко.

— Люди задыхались в атмосфере царизма и строили в мыслях хрустальные дворцы. Это символ, хрустальный дворец, ясно тебе — символ жизни при коммунизме! А мы решаем практические задачи. Нам вот нэп приходится проводить, чтоб наши завоевания прахом не пошли. Мы от капитализма в богатое наследство миллион болячек приняли. У нас хозяйственники не хотят, молодежи квалификацию давать, у нас малограмотными комсомольцами пруд пруди! Прихожу в губком — сидят-ждут ребята из станицы, за помощью приехали, разваливается у них ячейка. Я еду с ними, приезжаем — их секретарь венчается в церкви с кулацкой дочкой...

Югай стоял, говоря, и Женя Смирнова смотрела на него снизу вверх, закинув румяное лицо.

— Ты говоришь — получить. — Губы Югая двигались, как замороженные. Что значит получить? Тебе принесут, а ты соблаговолишь — получишь? А кто тебе должен принести? От кого ждешь?

— Марксистская постановка, — одобрил Яковенко.

— Ждут иждивенцы, — сказал Югай.

— Вы меня задвинули в иждивенцы, — сказал Спирька, — вы мне надавали по рукам не знаю за что. Кому бы надо надавать, тем вы не надавали.

— Пора подковаться как следует. Все съезжаешь на какие-то, черт тебя знает, мелкобуржуазные позиции.

— Югай, ну хватит тебе! — сказала Женя. — Мы говорили, будет ли семья при коммунизме.

— На мелкобуржуазные, я? — переспросил Спирька.

— Надо читать, Савчук. Полдюжины слов твердишь три года и думаешь это политика. Ленина читать надо.

— Я стою на революционной позиции! — крикнул Спирька. — Это вы съезжаете, вы за рабочее выдвижение не болеете, вы чужаков напустили полный аппарат!

— Конкретно! — сказал Югай.

— Спокойно, — повторил Яковенко и взял Спирьку за локоть.

— А ты не знаешь! — выдернув локоть, крикнул Спирька Югаю. — Рабочая масса говорит, а ты не знаешь! Кто в деткомиссии?! Спекулянты туда напхались, дела делают! В совнархозе кто коноводит?! Спецы коноводят!

— Совнархоз и деткомиссия комсомолу не подчинены, — сказал Югай. Нас знаешь как встречают, если мы залазим в совнархоз.

— Пролетарок в секретарши не берут, а берут инженероных жен! — кричал Спирька. — В политпросвете барыни заседают под видом педагогов!.. А, да ну вас! Пошли, Яковенко! О чем говорить!

Он вышел, швырнув дверь.

— А Елькина надо посмотреть, что за Елькин, — сказал Югай. — Морочит голову, отвлекает молодежь от текущих задач. Елькина наши руки могут достать.

— Савчук безусловно не прав во многом, — сказал Яковенко, твердо глядя Югаю в глаза, — ему безусловно надо подковаться, бросить комчванство и так далее. Но все-таки трудно объяснять ребятам, почему рабочий Савчук, комсомолец с двадцатого года, организатор и так далее, — почему он только член бюро ячейки, неужели не выше ему цена в глазах комсомола.

— Пусть работу покажет и дисциплину, — ответил Югай. — Демагогию его мы видим с двадцатого года.

— Трудно объяснять, — повторил Яковенко, — и, откровенно говоря, это многих ребят расхолаживает.

Он попрощался тем не менее приветливо. Севастьянов вышел с ним. В конце коридора поджидал Спирька, расхаживая взад и вперед.

— Валерьянку пей, — сказал ему Яковенко. — Очень полезно для бузотеров. Ведь прав Югай: ни черта не растешь, болтаешься хуже беспартийного. Чего тебя понесло отстаивать Елькина? Нашел кого отстаивать. А главное, все можно сказать спокойно.

Спирька будто не слышал, он мрачно смотрел на Севастьянова и сказал:

— А ты теперь, значит, в интеллихэнтах ходишь. Отдыхаешь от рабочей лямки.

И насмешливо покивал чубатой головой. Но Севастьянов отбил нападение, сказав:

— Ладно, ладно. Ты эти штучки брось. — Он так был уверен в своем пути, что Спирькин выпад не задел его нисколько.

25

Железные морозы, небывалая стужа.

В окоченевший январский день в типографии печатают сообщение в черной траурной раме. Оно расклеено на домах и заборах, люди подходят и в молчании прочитывают эти листки с крупными жирными буквами, стоят и читают, окутанные паром своего теплого дыхания. И газета выходит в трауре — черной рамой обведена первая полоса.

Умер Ленин.

26

Они стояли на углу, просвистываемые ледяным ветром, выбивали дробь ногами в жиденьких ботинках, зуб на зуб не попадал, — и говорили: каким он был, Ильич. Они его не видели. Югай видел его на Третьем съезде комсомола. Но так громадно много значил Ленин в их жизни. Не только в минувшие годы, но и в предстоящие, и навсегда значил он для них безмерно много. Всегда он будет с ними, что бы ни случилось. Так они чувствовали, и это сбылось. И, соединенные с ним до конца, видя в нем высший образец, они желали знать подробности: как он выглядел, какой у него был голос, походка, что у него было в комнате, как он относился к товарищам, к семье. И все говорили, кто что знал и думал.

Один говорил: настоящий вождь, настоящий характер вождя. Это надо уметь — так прибрать оппозиционеров к рукам и предотвратить раскол. Другой рассказывал, что кто-то ему рассказывал, что однажды Ильич при таких-то обстоятельствах так-то пошутил. Третья сказала задумчиво:

— Он незадолго до смерти елку устраивал для крестьянских ребятишек там, в Горках.

— Его в семье Володей звали, — заметил кто-то, и всех удивило это обыкновенное имя мальчика — Володя, отнесенное к тому великому, который лежал за тысячу снежных верст от них в Колонном зале.

— Исключительный ум, организационный гений, верно, — сказал еще один, — но самое главное в нем, ребята, это преданность идее; он одной идее отдал жизнь, он шел к цели железно.

— Он иначе не мог, — сказал Севастьянов, подумав, — у него все чувства очень большие. Отсюда и шел железно. Он не может быть преданным немного, не в полной мере. Он уж если предан, то совсем предан.

Они еще не привыкли говорить о нем в прошедшем времени, сбивались на настоящее.

Это они заговорились, идя с траурного собрания, прежде чем разбежаться по домам, воротниками прикрывая уши. На ветру тяжело хлопали флаги. Вечером они были совсем черными.

27

На траурном собрании, как сейчас вспоминается, за столом президиума висел маленький портрет Ленина, обвитый красной лентой и черной.

Собрание еще не началось — ребята входили и рассаживались, — как двое внесли, бережно поддерживая с двух сторон, большой портрет Ленина в широкой полированной раме, вверху на раме был герб СССР. Они сняли маленький портрет с лентами и повесили на его место новый большой портрет. Ленин был на нем государственный, строгий, без прищура, со взором раскрытым и вопрошающим.

В те дни вместе со многими другими рабочими, молодыми и старыми, Яковенко и Савчук вступили в партию.

В губкоме решили: Яковенко по своим способностям должен быть использован на работе крупного масштаба.



— Пора, брат, пора! — сказал Югай. И Яковенко уехал в Москву на курсы ЦК комсомола.

28

— Хочу я, — сказал Кушля, — открыть тебе одну вещь, потрясающую вещь, полный, понимаешь, кавардак в моей личной жизни.

— У тебя, по-моему, уже давно полный кавардак, — заметил Севастьянов.

— Нет! — сказал Кушля, торжественно подняв руку. — Не будем, дорогой товарищ, играть словами по такому поводу. Тут не годится играть словами. Тут начинается, понимаешь, такое, куда входить надо скинув шапку.

И, как всегда в порыве возвышенного чувства, глаза его заблестели от слез.

— Мои отношения с Ксаней, — продолжал он, — это святое дело. Мы с ней на пару такой путь прошли, в таких переделках побывали, что ни в сказке сказать. Ты бы знал!.. Которые не воевали, что вы знаете! Таких мук Исус Христос не терпел, как мы терпели. Он за три дня отмучился... Сыпняком я, например, болел на тихорецком вокзале. Лежу с громадной температурой прямо на полу, и прямо по голове сапоги день и ночь — бух! бух! Вот этой самой шинелью укрыт был. И под эту самую шинель подлегла ко мне Ксаня — не там на вокзале, а возле Великокняжеской. Лег спать один, а проснулся в компании, она говорит: глаза, говорит, твои голубые! Да... И смотрю — уже свои манатки волокет и с моими складывает. Где ж ты денешься!

Кушля помолчал.

— С тех пор мы с ней. Куда я, туда она. У ней ни родни, никого. Родня-то есть, да сплошная контра, не нравится им, видишь, гадам, ее жизнь, тряпкой не помогут! Мои дядьки маргаритовские тоже, между прочим, на меня зубами скрежещут, они б меня поставили приказчиком в свою кулацкую лавочку, тогда б я им как раз подошел, да!.. Но я на них плевал, я устроился на ответственную должность, а Ксаня мыкается, понимаешь, — из одной больницы уволили, из другой уволили. А считалось — она неплохая сестра, нет, неплохая! Характер, что ли, испортился, кто его знает...

Севастьянову понятно было, почему Ксаня не ужилась ни в одной больнице. «Да ты погляди на нее как следует, — сказал бы он Кушле, если б не было неловко, — какая она сестра!» В немой гимнастерке, с блеклыми прядями немых волос вдоль тусклого угрюмого лица, с шелухой от семечек на губах, она вызывала желание держаться подальше; а тяжелый взгляд исподлобья пугал, наводил на мысль, что она ненормальная. Двигалась еле-еле, будто спросонок. Куда такую в больницу? Да вряд ли Ксаня и хотела работать. Кушля давал ей из полочки сколько-то — ей хватало. Хватило бы и меньше. Одними бы семечками была сыта, лишь бы не отрываться от Кушли надолго. Ни хлеб ей не был нужен, ни одежда человеческая, ни люди: только Кушля. Впервые за свою небольшую жизнь наблюдал Севастьянов такое поглощение человека человеком; такое растворение, исчезновение одного человека в другом. Смотреть на это было даже страшновато. «Где же тут дружба, — думал Севастьянов, — где равноправие, это на смерть похоже. Он ее не любит и никогда не мог любить, она же больше ничего не умеет, кроме как всех вгонять в тоску».

— Такие святые отношения, — сказал Кушля, — не могут пострадать от какого-нибудь пустяка. От того, что Лиза меня полюбила, — от этого не пострадали наши с Ксаней отношения. Ведь с Лизой получилось как: она полюбила очень сильно. Но на сегодняшний

день и с Лизой отношения — тоже святыня, сам догадайся почему... Вот ты молодой, а имеешь привычку судить людей, ничего не зная. Не говори: имеешь. Ты и Лизу судишь — не говори: я вижу, что судишь. А ведь вот не знаешь, что она с двумя сестрами в одной комнате живет, а аборт делать не стала. Радует, понимаешь, как самому большому счастью... Это нехорошая у тебя привычка — судить не зная, ты отучайся. Тут тяжелая драма, а ты говоришь «кавардак».

— Ты сказал «кавардак».

— Тяжелая драма. И теперь скажи: как я должен выходить из этого положения?

— Не знаю! — чистосердечно ответил Севастьянов.

— Вот и я не знаю. Я спать перестал, веришь? Что-то надо решать одно, верно? Прежде я смотрел чересчур легко. Я смотрел со своей мужской колокольни. А ну их, думаю, разберутся как-нибудь! Сами ведь заварили кашу... Но когда я почитал, понимаешь, кое-что и сам стал писать кое-что, и познакомился с тобой, и с Семкой Городницким, и с вашими замечательными культурными девушками, — я стал расти, ты, наверно, заметил. Я за этот год вырос исключительно и не могу смотреть с мужской колокольни. Лежу ночью и думаю — как же я Ксаню брошу, это ж я ее убью? А с другой стороны — как сына оттолкнуть, представляешь?! Кручусь, как рыбешка на сковороде, пока трамваи не пойдут, тогда засыпаю немного.

Он прошелся, чтобы унять свое волнение.

— Я на ваших девушек смотрю и думаю: что ж такое значит, что на меня за всю мою молодость не пришлось нисколько чистоты этой и нежности... Ведь чистота — это хорошо, над этим только сволочи смеются, верно?

— Верно.

— Что ж такое, думаю, что, например, Лиза, не спросившись, ко мне подошла, под руку взяла и повела куда хотела, а, например, Зойка маленькая в жизнь не подойдет?... Да, дорогой товарищ, уже — все, уже никогда не будет мне этой любви воздушной, про которую читаем в хороших книгах.

— Ну почему, — сказал Севастьянов, — может, будет еще.

— Нет! — сказал Кушля. — Чего не будет, того не будет! Это — судьба мимо меня пронесла. Журналистом стану безусловно, будь уверен, а насчет любви — нет! Тут при распределении не учли меня, что ли. И возражать особенно не приходится, поскольку жизнь далеко еще не достигла своей высоты. Поскольку дерьма еще горы кругом невывезенного. Но мы его вывезем, дорогой товарищ, с помощью нашей прессы! Мы нашу жизнь подыдем на должную высоту!

— Слушай, — сказал Кушля, — я тебе эту картину описал, как я в Тихорецкой на вокзале, на каменном полу. Открою глаза — надо мной сапоги шагают — туда, сюда! Дверь не закрывалась ни на одну минуту. Холодом меня охлестывало на полу, как ледяной водой, январь это был. Скажи: как я жив остался? Уж не говорю о ранениях. Сколько крови моей утекло в землю. Я умирал несчетно раз. Я все, понимаешь, про это знаю — как умирает человек, что у него делается с руками, с печенкой, селезенкой, сердцем... И все ж таки жив, ты подумай. И теперь...

В глазах у него ярко заблестели слезы.

— Теперь будет сын. Мой сын, понимаешь? Глаза мои, волосики... А может, на Лизу будет

похож, тоже ничего, она ведь ничего, верно? Симпатичная, верно? Не в том дело, на кого будет похож, а в том, понимаешь, — ты подумай, какая жизнь у него будет, что я, отец, ему завоевал. Он же родится — где? — в Советской республике, а не в рабстве, как я был рожден. Уж у него — будь покоен! — все будет, чего у нас с тобой не было. Уж он все получит, чего мы, отцы, в нашей молодости и не слышали, только сейчас и узнаем, как дикари. Ему не придется в сыпняке на вокзале, — да и болезней, думается мне, не будет, когда он подрастет. Уничтожим и болезни, — ничего, я считаю, не будет на его светлом пути, ни сучка, ни задоринки...

29

Окно комнаты, в которой жили Севастьянов и Городницкий, смотрело во двор. С четырех сторон двор был обставлен домами — заключен в кирпичную коробку.

Опять наступила весна. Севастьянов и Городницкий отворили свое окошко и больше не затворяли, и жизнь двора перла к ним в комнату.

Во дворе, лепясь к стенам, дыбились зигзагообразные железные лестницы, одна — прямо напротив окошка. Почти непрерывно раздавался металлический перестук, по железным ступенькам сбегали ноги, потом появлялась фигура, потом голова, или наоборот: вслед за грохотом ступенек показывалась голова, затем плечи, постепенно вырастал человек в полный рост.

Все было преувеличенно громко. Каблуки по булыжнику цокали, как копыта. Собака лаяла внизу — будто здесь, в комнате. Удар детского мяча был как выстрел из револьвера.

Когда въезжал во двор фургон с молоком или выезжала телега с пустыми бутылками — лошади фыркали, бутылки дребезжали и возчики ругались прямо в ухо Севастьянову и Городницкому.

Фурунны, бутылки, возчики — это относилось к кафе «Реноме инвалида».

Хотя Севастьянов и Городницкий уже не столовались в кафе, но инвалиды сохранили к ним добрые чувства. Инвалиды были люди и все прекрасно поняли. Встречаясь со своими бывшими клиентами, они здоровались по-родственному. Они то и дело проходили по двору в своих белых курточках.

Направо внизу была дверь: две створки, выкрашенные в мутно-коричневую краску, исцарапанные; дверь без крыльца — выходила прямо на булыжник. Почти всегда она была открыта, за нею виднелась темнота: как в пещеру вход. Красавица овчарка лежала на пороге, царственно вытянув шелковистую сильную лапу, и янтарными глазами следила за проходящими по двору.

За этой дверью помещалась кладовая кафе «Реноме инвалида», и там же где-то в пещерном этом мраке обитал Кучерявый, кладовщик.

Он тоже носил белую куртку. Чаще других инвалидов хромал он через двор — то к черному ходу кафе, то к погребу, и всякий раз большим ключом отмыкал замок на погребе, и всякий раз тщательно этот замок навешивал. Даже с третьего этажа было видно, что у него спина (в белой куртке) как подушка, а волосы — как матрацные пружины.

Под торчащими вверх пружинами — пухлое белое лицо, похожее на ком теста, со вздутиями и вмятинами, как на сыром тесте, с узким бледным ртом и неожиданными глазами —

маленькими, темными, живыми, небрежно-рассеянными, словно Кучерявый что-то очень важное соображал и прикидывал в уме, и нимало этот занятой и отвлеченный ум не участвовал в кладовщицких манипуляциях с мукой, маслом и прочими продуктами, а участвовало в этих манипуляциях только пухлое, мятое, нездоровое тело Кучерявого, напрашивающееся на некрасивые сравнения с тестом и подушкой.

У входа в свою пещеру он кормил собаку. С заботливостью старой хлопотуньи хозяйки гнулса, ставя перед ней миску с едой. Собака весело лакала похлебку и грызла кости, всеми движениями и игрой мускулов выражая наслаждение. Он давал ей сахар. Поднимал руку, и она взлетала над ним в ликующем прыжке, длинная спина ее взвивалась серебряным огнем. И на третьем этаже было слышно, как хрустел сахар у нее на зубах. Диана звали эту собаку.

30

Семка Городницкий привык к своей болезни. Всю весну его донимал кашель и слабость — он эти явления игнорировал. Он не отвечал на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?», справедливо считая его бесплодным и размагничивающим. Пионерская организация готовилась к лагерям, первым своим лагерям. Семка заседал и суетился вместе с вожатыми — физкультурными ногастыми парнями и полногрудыми стыдливими девчатами в красных галстуках. Суетился, и ему представлялось, что он такой же здоровенный, ловкий и проворный, как они...

Югай, обещавший выхлопотать ему путевку в Крым, ушел с комсомольской работы, был теперь секретарем Пролетарского райкома партии. Его место в губкоме комсомола занял Яковенко. Сдавая Яковенке дела, Югай не забыл сказать: «Городницкого отправить надо подлечиться, в подходящее какое-нибудь место, в Ялту, Алупку», — Яковенко сам рассказал об этом Семке; но раз за разом оказывалось, что путевка была, подходящая, в Ялту, в Алупку, но отдана другому товарищу, у которого больше прав на лечение и отдых, а Семке надо еще подождать.

Так у него обстояли дела, когда приехал Илья Городницкий.

Он свалился как снег на голову. Воскресенье, утро. Севастьянов и Семка по случаю выходного дня проснулись поздно и нежатся на своих койках, покуривая. В дверь стучат.

— Кто там? Да-а! — зевая откликается Севастьянов. В комнату просовывается по-утреннему нечесаная голова ведьмы. Слышен приближающийся смех, говор, шаги.

— Там пришел ваш папа! — говорит ведьма торопливо-испуганно и восхищенно. — И с ним какие-то... товарищи! — Она исчезает, на ее месте Илья Городницкий, он весело спрашивает:

— Можно?

Он стоит на пороге, высокий, тонкий, темнобородый — странна и красива темная борода на молодом лице, — за ним теснятся незнакомые люди, а он смотрит на Семку, поднявшегося с постели, и добродушно улыбается.

— Это Семка? — спрашивает он быстро. — Это в самом деле Семка? — Он приближается к кровати. — Это ты, Семка?

— Здоров, Илья! — отвечает Семка, больше всего озабоченный тем, чтобы его мужественный голос не дрогнул от волнения.

Илья обнимает брата.

— Какими судьбами? Надолго?

— Ты слышишь, Марианна, какой бас?

С Ильей пришло много людей. Они не входят в комнату, остаются в кухне, курят там и громко разговаривают. Только старик Городницкий тут как тут, вьется вокруг Ильи и сияет.

— Борода! Нет, борода! — восклицает он как пьяный. — Нет, Семка, ты посмотри — борода, ха-ха, борода!

— Марианна! — зовет Илья.

Женщина входит на его зов. На ней что-то серое и лиловое, она красива — белая нежная кожа, карие глаза, бледно-золотые волосы, низко на затылке уложенные узлом. Она тоже улыбается и тоже здоровается, сначала с Семкой, потом с Севастьяновым. Здорово-таки неудобно сидеть перед ней в постели, с ногами, вытянутыми под одеялом; черт знает до чего неудобно. А у Семки к тому же на рукаве рубашки дырка, он страдает невыносимо.

— Он будет жить с нами, — говорит Илья своим мягким голосом.

— Конечно, — отвечает Марианна, — он будет жить с нами.

— Ты будешь хорошо с ним обращаться? — спрашивает Илья.

— Я буду хорошо с ним обращаться, — отвечает Марианна, улыбаясь.

— Она будет хорошо с тобой обращаться, — говорит Илья, обнимает Марианну за плечи и притягивает к себе. Она вспыхивает, она стоит как заря в этой комнате, полной разбросанных штанов, табачного тумана и солнца, светящего сквозь табачный туман.

— Борода, ха-ха! — кричит старик Городницкий. — Илья, ты молодец, прямо берешь бычка за рога! Бери его за рога, забирай его отсюда, посмотри, что я тебе говорил, у него же щек совсем не осталось!.. Но, однако, дорогие, поторопимся. Софья Александровна ждет. Ты бы одевался, Семка. Я приведу извозчика...

— Фима! — зовет Илья. — Фима! — И так как в кухне не слышат, он идет и возвращается, ведя за пуговицу какого-то толстяка. — Фима, вот это мой брат Семен, его надо лечить, надо его в хороший санаторий.

— А что такое? — спрашивает у Семки толстяк Фима (после оказалось заведующий губздравом). — Что у вас?.. Ничего, отправим, вылечим, — Илья, Илюшка, слышишь, пусть он ко мне зайдет на прием!

Илья не отвечает, рассказывает, добродушно смеясь, как шел, приехав, по Старопочтовой и как соседи его узнали, несмотря на бороду... Он рассказывает весело, товарищи смотрят на него с любовью. Они ходят за ним толпой — куда он, туда и они, — потому что любят его, подумал Севастьянов. Каких-нибудь два часа назад он приехал, а они уже слетелись, уже они вокруг него. А женщина повторяет как эхо каждое его слово.

— Софья Александровна ждет, — втискивается в разговор старик Городницкий, — завтрак остынет, поторопимся, господа.

Он пугается, что сказал «господа». Но те, к кому он обращается, заняты друг другом, он не в счет в их компании, они не слушают, что он там говорит. Но он-то хочет быть в их компании! Он хочет говорить! Он не хочет молча стоять в стороне, как незванный! Ведь Илья приехал к

нему! И он с отцовской строгостью обрушивается на Семку:

— Будешь ты одеваться или нет! В конце концов, из-за тебя все остынет! Одевайся сию минуту!

Совершенно спятил старик: как бы Семка одевался при Марианне? Выцветшие глаза старика выкачены стеклянно и беспомощно. Губы дрожат. Илья приехал к нему с вокзала с чемоданом, тем самым признал своего отца, свою кровь, свой кров. Но это было на мгновение — вот Илья уже не с ним, вот он уже принадлежит своим товарищам, товарищам по подполью, по юности, по общей цели, общей склонности к шутке и смеху, а старику уж померещилось было, что его первенец, добившийся в жизни успеха, будет принадлежать ему, что люди увидят — они рядом, отец и сын, в согласии и дружбе, они друг другу радуются, друг друга хлопают по плечам! Терзаясь от ревности, старик хлопочет, чтоб поскорей увести их к себе, в комнаты, где он хозяин, и усадить за стол — может быть, дело еще повернется в желательную сторону, ему дадут слово за его собственным столом, он поднимет рюмку за Илью, Илья предложит тост за отца, который его родил и-и, так сказать, воспитал ведь как-никак до седьмого класса Илья жил в отчем доме... Скорей, скорей, хлопочет старик; задержка за Семкой. Сжимая в кулаки пухлые руки с коричневыми крапинками, старик наступает на Семку:

— Долго ты еще будешь сидеть!..

— Завтракать! Завтракать! — раздаются голоса. — Ефим, чур, накормить как следует, Рита ничего не умеет! — Товарищи, копчушки и редиска — этим даже Рита сумеет накормить. Пирогов, извините, не будет. — Копчушки, восхитительно, обожаю копчушки (это восклицает Илья), пошли, товарищи, Семка, одевайся! — Марианна догадывается наконец, что ей следует выйти, и Семка вскакивает как встрепанный.

— Значит, ты тут жил аскетом, — мягко говорит ему Илья, — и наживал чахотку. А что случилось бы с революцией, если бы ты позволил этому старому буржую подкармливать тебя? Для тебя была бы польза, для старого буржуа удовольствие, а революции наплевать, она, мой дорогой, не этим занята.

— Илюша, как же можно, — ужасным шепотом шипит старый буржуй, — как это можно?! Куда вы собираетесь, я слышать не хочу! Дома все готово, Софья Александровна...

— Ну что ты! — говорит Илья. — Товарищи условились, мы собираемся у Фимы. Там еще придут, куда ж к тебе.

— Пусть пятьдесят человек! — шепчет старик Городницкий, задыхаясь. Пусть сто человек!

— Я, может быть, у тебя переночую. Завтра-послезавтра у меня будет квартира, а эту ночь я, возможно, переночую у тебя. Слушай — тебя надо привести в человеческий вид, что это за гадость, эта вывеска, меретка и зигзаг? Тебе надо работу, надо в профсоюз, надо, надо выводить тебя из этого состояния!

— Я надену твою новую косоворотку, — бормочет тем временем Семка Севастьянову.

— Валяй, — соглашается Севастьянов, сидя с вытянутыми ногами под одеялом.

Так он сидит, пока все не уходят. Старик Городницкий тащится за ними. Севастьянов одевается. Вот, значит, этот Илья Городницкий...

Что-то очень в нем привлекательное: в улыбке, в мягком голосе, в быстрой живой манере.

Зазнайства — ни капли. Как он закричал хорошо: «Копчушки, копчушки!» — невольно улыбнешься.

«Что это за гадость?» — без злобы спросил, с веселым любопытством...

Но, думает Севастьянов, должен же человек соответствовать своей биографии. Должен или не должен? Должен! А про Илью, если не знать, ни за что не скажешь, что у него такое прошлое: подполье, работа в ревтрибунале... Такая серьезная биография, а он так несерьезно себя держит. Все движется, не постоит на месте. Вертится на каблуках, словно танцует; тербит бороду. Зачем-то бороду отрастил, чудак... При всех обнимает свою Марианну. Говорит легковесно...

Революция, разумеется, не пострадала бы, если бы некий старый буржуй прикармливал некоего Семку Городницкого, хорошего комсомольца с туберкулезным процессом в легких. Но что случилось бы с революцией, думает Севастьянов, шнуруя ботинок, если бы все комсомольцы стали прикармливаться из буржуйского кармана, вот ведь в чем дело. Разве один Семка нуждается в прикорме?.. Человек с такой биографией не может ставить интересы личности выше принципа; это обмолвка.

Вечером Семка сообщает известия. Илья назначен к нам губернским прокурором. После своей книги он ожидал большого назначения в Наркомюст; но где-то что-то разладилось, разладилось настолько, что в Москве Илья не получил работы, его послали на периферию. Впрочем, он, по его словам, не собирается здесь засиживаться.

— «Мережки и зигзага» уже нет.

— Уже сняли?

— Сняли. Он велел. Этот его длинный приятель, — ты не видел, Балясников из исполкома, — он обещал устроить батьку товароведом в ТЭЖЭ.

— Вот как, — говорит Севастьянов, и они умолкают. Обо всем этом надо подумать. Эта молниеносность в устройстве дел их как-то угнетает.

Через несколько дней Семка перебирается к брату. Провожают его Севастьянов, Электрификация, Баррикада и несколько ребят в пионерских галстуках. Они связывают книги, за год книг у Семки стало вдвое больше, и дорожит он ими ужасно. Осторожно и ласково берет он их своими худыми пальцами. Его беспокоит, что ребята обращаются с его сокровищами недостаточно бережно; что веревка врезается в переплеты... Вдруг приходит Марианна.

— Вот хорошо, — говорит она, — я не опоздала, вы как раз собираетесь, Сема... Сема, я пришла сказать, пожалуйста, ни матраца, ни подушки, ничего этого брать не надо, там все есть, — и чем я могу вам помочь?

Помогать не нужно, и так в комнатухе не повернуться от книг и людей. Особенно много места занимают, дурачась и хохоча, Баррикада и Электрификация. Марианну уговаривают посидеть в уголку, она сидит, подобрав под стул ноги, и смотрит с понимающей добродушной улыбкой, которую переняла у Ильи.

Она непременно хочет что-нибудь нести, и ей тоже дают маленькую стопку книг, чтобы она успокоилась.

Ватагой идут они по улице.

— До чего тепло, — говорит Марианна с радостным удивлением, — до чего волшебным тепло! Из Москвы я в теплом пальто уезжала. Там у нас по дворам еще лед не весь растаял. А у вас цветут акации.

Да, опять зацветает акация, перышки листьев на ней опять ярко-зеленые, бутоны как

огуречные семечки, и уже раскрылись кое-где зеленовато-белые хрупкие цветы.

Идти недалеко, Илью и Марианну поселили в том самом общежитии ответработников, где живут Югай и Женя Смирнова. На третьем этаже, в конце длинного коридора, Марианна отпирает дверь.

— Вот ваша комната, Сема.

Ну и комната, Севастьянов не видел в этом довольно-таки спартанском общежитии так великолепно обставленных комнат. Мало того, что на полу ковер, а на окнах и двери длинные синие занавески, — здесь еще стоит мягкая мебель светлого дерева, обитая темно-синим сукном: диван и два кресла, а перед диваном круглый стол. И письменный стол, и на нем лампа в молочно-белом стеклянном абажуре. А за ширмой, нарочно отодвинутой, чтоб можно было увидеть сразу, — кровать и мраморный умывальник.

— Ой! — иронически-почтительно говорит Электрификация.

— Вам тут будет хорошо, правда, Сема! — восклицает Марианна. — К вам будут приходить ваши товарищи, и всем хватит места!

Положим, когда приходили ребята, места хватало и в той их комнатухе, та комнатуха была прямо-таки резиновая.

Семка недоверчиво поворачивает вправо и влево свое горбоносое острое лицо. Он опускает связку книг на ковер, и все они следуют его примеру. Марианна взволнованно ждет, что он скажет. Она приготовила ему сюрприз, брату своего мужа, — пусть же почувствует ее родственную заботу, пусть восхитится, пусть ему будет прекрасно, как прекрасно ей! Все эти желания выражены в ее тревожной улыбке. Семка взглядывает на нее и говорит вежливо:

— Еще бы не хватило места. Спасибо.

По его голосу Севастьянов понимает (девчата, Баррикада и Электрификация, понимают тоже), что Семка ошарашен роскошью нового жилища и колеблется — заявить протест немедленно или дождаться Ильи. Но Марианна видит Семку второй или третий раз в жизни и не разбирается в оттенках его баса; ответ ее удовлетворил. Она с жаром обращается к ребятам:

— Пожалуйста, прошу вас, приходите чаще!

Это уж лишнее: это дело ребят и Семки, а вовсе не ее. Все немножко смущены этим взрывом любезности. У Электрификации и Баррикады вытягиваются лица. Со времен политкурсов толстушки относились к Семке преданно: он был для них вершиной эрудиции и духовности, доступной индивидууму их возраста. Они считали за честь бывать в его обществе и радовались, если их дурачества и хохот заставляли его улыбнуться. Теперь, выходит, над ним будет хозяйкой Марианна: захочет — пригласит их к нему, не захочет — не пригласит... Толстушки отчужденно молчат, сжав румяные губы.

Марианна не замечает прохладного ветерка, пробежавшего между нею и остальными. Она занимает их как гостей, как своих гостей: ведет, показывает две соседние комнаты, где со вчерашнего дня живут они с Ильей. Отлично их устроили, правда? В Москве у них была одна комната, и теперь Марианна не нарадуется простору. Вся мебель — казенная, они с Ильей ведь цыгане, у них нет ничего...

Она предлагает курить, приносит пепельницу.

Ей хочется дружеских, братских отношений с ними — она не притворяется, ей в самом деле хочется. Но она не знает, как этого достичь. Бедняжка.



В открытых окнах — вид на реку. Половодье почти спало. Два сонных паруса царят над ним, белый и черный. Белый — яхта из яхт-клуба; черный рыбацья лодчонка. Баркасы шмыгают, шевеля веслами, во всех направлениях. Дальше, за береговыми вербами, еще стоящими в воде, — кремовая полоса песков. За песками, до горизонта — солнечно-зеленая вешняя гладь, усеянная рыжими и черными точками, — бессчетные стада на безбрежном пастбище.

— Почему нет музыки? — спрашивает Марианна, заглядывая ребятам в глаза (а они молчат).  
— У вас же катаются на лодках с гармонью, катаются и играют на гармонии, мне рассказывал Илья.

— Это по большей части в воскресенье, — объясняет Севастьянов. — На гармонии играют, а то наймут шарманщика и возят с собой, чтоб играл им целый день.

— Хорошо на том берегу, должно быть, — говорит Марианна, глядя не на тот берег, а на ребят.

— Да, — подтверждает Севастьянов. — На том берегу очень хорошо.

В заключение она их угощает конфетами из большой коробки, которые подарил ей Илья по случаю новоселья. И они уходят, оставляя Семку в новой блистательной жизни, с красивой женщиной, женой его старшего брата. В комнатушку за кухней Севастьянов возвращается один.

31

На том берегу, на песках, рос кустарник, непышный, в рост человека, с долгенькими белесоватыми листьями, отливающими на солнце паутиной сединой; с неказистыми серо-сиреневыми мелкими цветочками, похожими на цветы картофеля.

Песок был раскаленный, сыпучий.

Они шли в волнах солнца, не глядя друг на друга. Ему было страшно взглянуть на нее. Может быть, и ей было все-таки страшно.

Иногда на ходу, нечаянно, соприкасались их руки; но сейчас же он отстранялся, чувствуя ожог и холод вдоль позвоночника.

В спину им, уходящим, смотрели ребята.

А может быть, не смотрели, там у воды такой шумный поднялся разговор, когда они ушли вдвоем, — неестественно шумный.

Позади была река, усыпанная блеском, сотни лодок разгуливали по ней, гармошки и шарманки играли на лодках, как полагалось в воскресенье.

Они уходили все дальше, музыка играла тише, кустарник становился гуще.

32

Накануне вечером проводили Семку в Ялту.

А утром Севастьянов спал — один в комнате, как царь, — ребята ввалились и потащили кататься на лодке. Среди них была большая Зоя. Севастьянов спросил:

— А Зойка маленькая?

— У нее отец заболел, — ответила большая.

На набережной, у сходней, килем вверх лежали лодки. На них были написаны женские и мужские имена: «Нина», «Шура», «Муся», «Вова». Ребята взяли лодку и поплыли по сверкающей реке. Потом причалили к тому берегу, в нелюдном месте, чтобы привольней было купаться. И там она сказала, смеясь:

— Почему ты никогда не объяснишься мне в любви? Объяснись мне в любви!

Он спросил:

— Разве все обязаны объясняться тебе в любви?

— Все объясняются, кроме тебя. Ну правда! Ты один не объясняешься. А мы уже столько лет знакомы!

Балуясь, она настаивала:

— Ну, пожалуйста! Ну, какой!..

Он лежал на песке, а она приподнялась и стала на колени. Подняв руки, она ловила кудрявые пряди своих волос, разлетавшихся на ветерке, и пыталась упрятать их под косыночку. Прямо перед лицом Севастьянова были взвиты ее тонкие руки, розово-смуглые, длинные, прелестные девичьи руки. Севастьянов увидел маленькую дышащую грудь под белым полотняным платьем и хрупкие выступы ключиц. Он увидел смеющиеся губы, лучики-морщинки на губах, каждый лучик был высвечен солнцем. И вдруг жаром хлынуло в него все это. Он вздрогнул оттого, что она рядом, теплая, с длинными розовыми руками. Разве прежде он не замечал ее красоты? Замечал сто раз. Но все равно — в первый раз за столько лет он увидел Зою.

И будто круг раздался: будто все отодвинулись, и в кругу они остались вдвоем.

Расхотелось разговаривать. И с ней тоже. О чем они говорят? Чепуха, треп. Кому это нужно.

Она была тут — это было нужно. Что она подняла руки, стоя на коленях, и ловит свои волосы — исключительно нужно и важно. На это, оказывается, можно смотреть, и смотреть, и смотреть.

Все поняли. Словно им подшепнул кто. Все, замолчав, оставили их вдвоем в кругу.

Она сказала, неизвестно к кому обращаясь, рассеянно, перестав смеяться:

— Пошли погулять.

Промолчали все. Вроде не слышали.

— Пошли, Шура? — сказала она и встала.

Все молчали. Гармошки на лодках, надрываясь, играли вперехлест. Севастьянов встал и пошел с ней рядом.

Потом было возвращение в город. В лодке, со всеми. Севастьянов греб, она сидела напротив, опустив руку за борт в журчащую воду, оранжевую на закате.

Оранжевая вода вскипала вокруг ее пальцев.

Севастьянов смотрел на нее и греб неторопливыми сильными ударами. Кругом говорили, они двое по-прежнему пребывали в кольце молчания и отъединения.

Над озаренной рекой темнел синий город, придвигаясь. И лицо ее было зажжено живым светом, раскинутым во всю ширь реки и неба.

33

Он сидел в зале клуба совторгслужащих, а на сцене происходило балетное представление. Мелькали красные шарфы и загримированные лица, но только одно лицо он видел, зажженное, озаренное, и следил за каждым его движением. Что танцевали — не разобрал. Хлопал, когда все хлопали. Не понял: почему, когда представление кончилось, одна из танцевавших вышла вперед и ей хлопали отдельно, — почему не Зоя вышла, а какая-то другая, которую нельзя даже сравнить с Зоей. Он похлопал из приличия. Но то явное было недоразумение. Кто-то чего-то недопонял.

Объявили антракт, в зале зажегся свет. Севастьянов встал и двинулся вдоль ряда к проходу. Ему наперерез, в профиль, деревянно держа голову, глядя неподвижно вперед, прошел Спирька Савчук. Желтые борозды лежали на его щеках, он улыбался горькой вымученной улыбкой. «Знает», — подумал Севастьянов. Он больше не осуждал Спирьку за его неразумную страсть. Спирькино горе заслуживало уважения — кого ж и любить, если не Зою.

Он не стал навязываться Спирьке с неуместными «здравствуй» и «как поживаешь» и со своей сияющей рожей, — тихо пошел следом, соблюдая деликатную дистанцию.

На улице, у выхода из клуба, у афиши, освещенной лампочками, ждал он Зою после представления. На этом самом месте как-то зимой ждал ее Савчук... Севастьянов подумал: вполне возможно, сейчас он подойдет, Спирька, тронет за локоть, скажет: «Слушай, ну-ка иди сюда, ты что же», и надо ответить выдержанно, честно, по-мужски, с сознанием своего права и Зоиною.

Но Спирька не появился. Напрасно Севастьянов, похаживая перед афишей, ждал его и мысленно репетировал объяснение. Спирька тоже был мужчина и не нуждался в никчемных вопросах и ответах.

34

— Одного я не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Где я раньше был? Ты же существовала, ты, ты, ты! Существовала!

— Ты дружил с Зойкой.

— При чем тут Зойка? Дружба с Зойкой — это совсем другое... Слушай, помнишь — ты платок уронила, а я поднял. На площадке, неужели не помнишь? Я сам не додумался, ты мне

велела поднять. Я поднял и пошел, и в голове не было, что ты для меня такое... А помнишь, как мы познакомились? Я сидел, оглядываюсь, вижу — ты. А потом ты спросила...

— Это Зойка спросила.

— Верно. Это Зойка спросила. Но все-таки что-то у меня к тебе было с самого начала. Сразу тебя увидел. Как будто нарочно оглянулся, чтобы увидеть. Как будто кто меня толкнул оглянуться. Я тебя люблю. Ты никуда не уйдешь. Ты останешься тут.

— Сумасшедший.

— Останешься, и все.

— Сумасшедший.

— Глупости. Зачем я останусь?

— Любить меня.

— Разве так я тебя не люблю?

— Так не получается. Я ни о чем не могу думать. Ничего не могу делать, когда ты не со мной.

— Наоборот, по-моему: ты ни о чем не можешь думать, когда я с тобой.

— Ты ничего не понимаешь!

— Ты уйдешь в редакцию, а я что буду делать?

— Ждать меня. Будешь заниматься своими делами. Но когда я буду приходить, чтоб ты обязательно была дома. Иначе я не могу.

— Мне и так достанется, что поздно вернулась.

— Я войду с тобой!

— Ну какие глупости, и думать не смей. Такой скандал получится, ты не представляешь. И вообще не вздумай приходить.

— Почему?

— Я не хочу!

— Почему не хочешь?

— Так!

— Нет, ответь: почему?

— Вы все мещане, вот что. Когда любовь красивая, вы не понимаете. Непременно тебе запретить меня от всех. От всего. Вот твое отношение.

— Слушай!..

— Я хочу быть счастливой. А ты требуешь, чтобы я как пришитая сидела целый день. С этими бабками, очень интересно. Сидела, тебя ждала, пока ты придешь, вот твое отношение.

— Ну не плачь. Ну не плачь. Я ничего же не требую, ну не плачь!

Но когда своей сильной мальчишеской рукой он обнимал ее, теплую, льнущую, — такими пустяками оказывались все несогласия! Ее теплота, ее дыхание, ее закрытые глаза — тут была сладость и тайна жизни, дары и очарования жизни; она ему эти очарования указала; приобщила, приковала к ним, заставила вращаться вокруг них на привязи. Каруселить, как было сказано в одной смешной хартии. Я каруселю вокруг тебя по орбите. Дивно прекрасное занятие — каруселить. На короткой приструнке. Вечно чувствовать эту приструнку, где бы ни был. Где бы ты ни была. Вечно ждать, даже находясь вместе. Ждать — вот откроются еще неразведанные миры; они открываются, и опять ждешь, и это бесконечно — как вселенная.

Меры времени спутались: секунда приносила потрясения, от которых взрослела душа, а часы то тянулись, как годы, то уходили, как вода в песок.

Сутки стали величиной огромной — по числу впечатлений, которые в них вмещались.

Зоя приходила вечером. Он мчался домой, чтобы не упустить ни минуты свидания и чтобы оградить ее от ведьм, — они ее так и кусали своими взглядами и усмешками, когда она проходила через их Лысую гору, через кухню.

Забежав в магазин, он покупал колбасы или ветчины и немного пикулей она любила пикули.

Стал франтом: купил новые парусиновые брюки, хотя старые были еще хоть куда, чуть-чуть только сели в стирке.

Зарботки его увеличились, он получал фикс, и гонорар стали платить аккуратнее, можно было позволить себе кое-что — например, кожаный портфель, вещь нужнейшую, которая сразу придавала человеку вид ответственного работника.

Ходил с портфелем, прибранный, подстриженный, торжественно-задумчивый, надушенный тройным одеколоном.

Однажды у них отняли вечер. Дробышев отправлялся с губернским начальством на Машстрой и взял Севастьянова. Севастьянов первый раз отроду ехал в автомобиле. Его посадили с шофером. В прежние дни он бы сполна насладился этим удовольствием, теперь одно думал: когда же мы вернемся в город... Степь цвела и дышала. По склонам длинной балки, как ковры, лежали огороды богатой коммуны «Заря». Синий четырехугольник, синий платок, расстеленный среди зелени, — поле медуницы, детская колония посеяла медуницу для своих пчел. За группой деревьев блестел купол с флагом монастырская церковь, с которой сняли крест, — детская колония помещалась в бывшем монастыре... Подводы, запряженные волами, влачили в ленивой пыли. Бабы ехали, свесив ноги. Мужики спали за бабьими спинами, укрыв голову от солнца. В прежние дни Севастьянов вбирал бы в себя эти картины, не пропуская ничего. Теперь надо всем стояла, все затмевая, Зоя. Майская степь, дорога с людьми и волами, синее поле, ковры огородов, флаг на куполе — это было ее подножье. Груды белых облаков в небе тоже были ее подножьем. Выше всего стояла она, все затмеваящая, с лучиками на розовых губах, — и вдруг мы не вернемся до вечера, вдруг не успеем! — думал Севастьянов.

Машстрой был только что заложен. Ему предстояло неторопливо расти от сезона к сезону, с приостановкой работы на осень и зиму, неторопливо расти до первой пятилетки, когда все изменится — темпы и масштабы; когда страна зашумит стройками, потоки людей хлынут по стране во все концы и опустеют биржи труда. К тому времени Машстрой, укрупняясь на ходу,

двинется вперед семимильными шагами — один из первенцев, гигантов пятилетки. В двадцать четвертом году это были длинные мазаные бараки, штук десять барачков. Грабари, съехавшиеся из разных мест, лопатами копали котлован для первого цеха. Под навесами на печках, сложенных из кирпича, багроволицые кухарки варили еду в артельных котлах. Распластанные на траве, сушились заслуженные рубахи и штаны — выгоревшие, в заплатках.

В маленькой конторе два человека, один средних лет, в косоворотке, лохматый, в доску своей, другой — старик с острой белой бородкой, молчаливый и надменный, — разворачивали перед губернским начальством трубки синек. Смотрело начальство, смотрел Дробышев, потом синьку передавали Севастьянову. Это длилось без конца. Солнце спускалось. Уехать, уйти, убежать не было никакой возможности.

Началось собрание. Губернское начальство сделало доклад. Дробышев сделал доклад о стенной печати. Выбрали редколлегию. Дробышев объявил, что товарищ Севастьянов, сотрудник «Серпа и молота», поможет редколлегии выпустить первый номер стенгазеты. Объявив, сел в автомобиль с начальством и укатил в пылающий закат.

Севастьянов посмотрел им вслед. Он даже записки не успел ей оставить... Закат пылал. Но это же еще не вечер, подумал Севастьянов. И ему вдруг показалось, что если проявить оперативность, если очень, очень постараться, не разбрасываясь, не отвлекаясь...

Надо полагать, члены редколлегии навсегда запомнили урок оперативности, который он им преподал. Они хотели сперва поужинать и его покормить; но он тиранически загнал их в красный уголок и засадил за работу. Неискушенные в газетном деле, они подумали, что это так и надо такая лихорадка, и повиновались ему. Усердие их было велико и чистосердечно; но они ничего не умели. Изнемогая от их медлительности, он бросался помогать каждому и в результате сам написал почти все заметки, передовую и отдел «Кому что снится». И собственноручно переписал газету начисто. И нарисовал две залихватские карикатуры, подражая рисункам Коли Игумнова (до этого никогда не рисовал карикатур). И с отчаянной щедростью раскрасил заголовок красной тушью и золотом. В тот вечер он понял, что значит выражение «работа кипит в руках». Каждое слово ему удавалось и каждый штрих. В жизни потом с ним не было ничего подобного.

Неистовствуя, думал: «Она пришла и ждет. Она ждет». Позже, когда окна стали глухо-черными, ночными: «Она беспокоится. Не знает, что думать. Но она еще ждет». Часов ни у кого не было. Время скакало громадными скачками. «Может быть, она еще ждет». Железная дорога была недалеко, поезда останавливались на разъезде «Машстрой», он рассчитывал уехать, как только кончит свое дело.

Члены редколлегии выбывали из строя по очереди. Один ушел, второй уснул тут же на лавке. Дольше всех держался председатель, чернобровый и черноусый дядька в вышитой рубашке. Он сидел возле Севастьянова и с уважением следил за его действиями. Потом и он заснул, положив голову на измазанный красками стол.

Стенгазета получилась на славу. Севастьянов распрямил спину, — окна были голубые, ясные, электрическая лампочка растаяла как льдинка, ночь прошла, он опоздал на свидание.

Председатель и член редколлегии крепко спали. Севастьянов аккуратно прикрепил свое творение кнопками к стене. Вот. Теперь домой. Вдруг бывают же случаи — вдруг все-таки, несмотря ни на что, вдруг она еще ждет!

Он вышел из красного уголка. Холодноватое, чистое рождалось утро. За барачком он услышал женские голоса и пошел на них.

Две кухарки перебранивались, растапливая печь. Степь была их кухней, небо — крышей. Они бранились вполголоса из-за плохо вымытого котла. Горечь тлеющего кизяка сочилась в

рассветную свежесть. Севастьянов спросил:

— К железной дороге как идти?

Они оглядели его с головы до ног и, прекратив перебранку, показали кратчайший путь — напрямик через степь. Одна, вытирая руки о фартук, проводила его немного; даже зашла вслед за ним в густую траву, перевитую повиликой. Он сказал «пока» и зашагал по высокой траве.

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала, переливаясь, каждая травинка держала свой сияющий алмаз. Севастьянов промок по колено... Довольно скоро он увидел желтую будку разъезда, увидел дымок приближающегося поезда — комочек ваты в голубизне, — пустился бегом, выдирая ноги из травяных пут.

Сердце весело колотилось. Он выскочил на полотно. Рельсы струились в раннем солнце как светлые ручьи. Поезд приближался, он шел в сторону города. Мимо Севастьянова, громыхая, поплыли платформы, цистерны, маленькие красно-коричневые вагончики, исписанные цифрами и словами, — это был товарный поезд, и он не собирался здесь останавливаться. Севастьянов высмотрел подножку с поручнями, нацелился и вскочил.

Сразу его резко обдуло ветром. Он устроился на узкой площадке, подложив портфель под голову. Богатырский сон сразил его мгновенно. Что-то снилось сквозь грохот колес, гремевших в ухо... Проснулся в городе, на товарной станции, — железнодорожник разбудил, спасибо ему.

36

«Моя невероятная», «немыслимая», — писал он.

Каждый день писал: в невыносимо огромный промежуток от вечера до вечера, от встречи до встречи. Придвигал листок, и слова срывались с пера водопадом, казалось — их сотни тысяч. На самом деле их было, должно быть, штук полтора. Среди одних и тех же слов он топтался, задыхаясь, захлебываясь этими словами.

«Ничего не делаю, только думаю о тебе. Не хочу о тебе больше думать и думаю. Не хочу писать это письмо, не нужно писать его, совестно...

...Пришел в редакцию спозаранок, еще полы мыли. Разложил свои заметки и сел писать очерк. Писал-писал, а к двенадцати оказалось, что не написал даже заголовка, а писал письмо тебе. Был этим ужасно возмущен. Решил попробовать работать дома. Сейчас пишу дома. И опять то же самое. Сидел над пустым листом, делал вид, что занят делом. Но больше не могу ломать себя и обманывать. Ведь все это время я только и делал, что вспоминал тебя.

Ругаю себя и уговариваю, что я тряпка, кисель несчастный. Но не могу тебя прогнать из себя».

Он был сдержан. Чтобы наизнанку себя выворачивать, напоказ — никогда: кому это интересно, ни людям, ни ему самому... Откуда взялась необходимость все, все, все и сию же минуту ей рассказать, без малейшей утайки, без пощады к себе, — такая необходимость, как воду пить, когда жажда:

«Ты пойми меня правильно. Мне надо не только целовать тебя, но и видеть, как ты сидишь,

стоишь, ходишь, слышать, как ты говоришь и смеешься, рассматривать, какие у тебя пальцы, локти, зрачки. Я тебя жду, как никого и ничего не ждал...

Ты права, что я сошел с ума. Беру папиросу — это ты, это я тебя беру в руки. Надеваю майку — это ты, это ты ко мне прикасаешься. Черт знает что. Только с тобой мне спокойно более или менее. Но когда я без тебя, я не могу.

Я хочу, чтобы ты была со мной сейчас и всегда.

Ты согласишься жить вместе. Ведь ты уже не можешь взять свою любовь обратно. Ты должна согласиться.

Как мне сделать, чтобы ты тоже без меня не могла? Ничего не могла, чтобы ты без меня не жила...»

Писал, и вдруг стукнули в дверь. Он крикнул: «Да!» — и откинулся на спинку стула в жгучей уверенности, что это она, — угадала, что он дома в этот дневной неположенный час, через крыши и шумы услышала зов и пришла. Он и не оглянулся, так был уверен. Сидел, закрыв глаза, ожидая ее прикосновения.

— Здравствуйте, Шура, — сказал робкий голос.

Анна Алексеевна, мать Зойки маленькой.

— Что случилось?! — вскрикнул он и поднялся.

Все происходившее в те дни с ним и вокруг него имело отношение к Зое. Пришла Зойкина мать — она скажет, что что-то случилось с Зоей, его Зоей.

Худенькая женщина в сером платье, в чувячках, с кошелкой, вошла, прикрыла рукой лицо, плечи ее затряслись.

— Что?! — повторил Севастьянов в страхе.

Поглощенная своей бедой, она не заметила его наэлектризованности. И нечаянное его восклицание отнесла к собственным горестям, оно оказалось вполне уместным.

— Еще ничего, слава богу, не случилось, еще надеемся, — ответила она, совладав с собой, — еще только во вторник операция будет.

Ах да, у Зойки маленькой болен отец, его положили в клинику... Вот как — значит, дело серьезное... Пробормотав что-то, Севастьянов придвинул Анне Алексеевне стул. Она поставила на стул свою полную, с раздутыми боками кошелку, прикрытую чистейшим суровым полотенцем и сама уместилась на краешке, держась за кошелку, — то ли чтобы та не упала, то ли чтоб самой не упасть.

— Зюечка говорила с профессором, — сказала она, — профессор сам операцию сделает. Тяжело, конечно. Такая операция, а организм, доктора говорят, неважный, переработанный организм.

Она стала рассказывать подробности, робко и вместе деловито.

— И хоть бы что-нибудь кушал, — тихо и рассудительно говорила она, а то ничего ведь не кушает, как же болезнь побороть? Чего только не готовим, чего не носим. Все по строгой диете, как велят. Зюечка ему говорит: скушай ты, папа, ради меня, хоть ложечку, говорит, скушай... Простенькое, увядшее, бесцветное лицо ее опять задрожало; но опять она пересилила себя, кончиком головного платка промокнула слезинку в уголке глаза. — И не



спит. Ему всякие средства для сна — нет, не спит. Не от боли, боли-то нет, когда в лежачем положении. О нас думает, вот и не помогают средства... Шура, я к вам в редакцию ездила, не застала, адрес мне ваш там дали. Василий Иванович вас просит, у него дело к вам, чтобы вы зашли до операции.

И так как Севастьянов, туманно задумавшийся о том, как счастье и несчастье соседствуют в мире, ответил не сразу, — она добавила:

— Он вас очень убедительно просит.

— Обязательно! — отозвался он с горячей неловкой готовностью. Обязательно! Когда можно?

«Но зачем же было в редакции брать адрес, — мелькнуло в голове, Зойка маленькая ведь отлично знает, где я живу».

— Вообще-то пускают по четвергам и воскресеньям, с четырех до шести, — добросовестно разъяснила Анна Алексеевна, — но мы с Зоечкой бываем ежедневно, по очереди, и в отношении вас я договорилась. Василий Иванович велел договориться, чтобы вас приблизительно вот в это время пропустили. Почему я вас и разыскивала. Сейчас как раз операции идут и врачей в палатах нет, можно пройти. — Севастьянов не мог понять выражения, с каким она смотрела на него, и боязнь была в ее взгляде, и осуждение, и грусть. — Если, может, у вас занятие несрочное... Может, прошли бы с вами, здесь недалеко?..

Пока он убирал неоконченное письмо, она осматривала его жилище, поджав губы, с тем же осуждающим и скорбным выражением. Зорко, он заметил, осмотрела все — потолок и окошко, постель и старые ботинки, выглядывавшие из-под кровати. И при этом безотрадно и укоризненно покачивала головой.

В саду клинического городка гуляли по дорожкам, сидели на скамейках больные в серых халатах и шлепанцах. Сад был большой, зеленый, но в нем пахло аптекой. Некоторые гуляли на костылях... В раздевалке хирургической клиники Севастьянову дали халат, а Анна Алексеевна надела свой, белоснежный, принесенный из дому. По этому принесенному с собой халату, по тому, как она его быстро и ловко надела и как спросила: «Дочка моя не была?» — Севастьянов понял, что они с Зойкой маленькой днюют и ночуют в клинике, и все уж их здесь знают. Стараясь ступать потише, он шагал за Анной Алексеевной через голизну широких светлых коридоров и безлюдных лестниц. Она шла впереди проворно и бесшумно в своих мягких чувячках, несла увязанные в салфетку мисочки и кастрюлечки, которые вынула из кошелки. Пришли в большую палату, дошли до угловой койки у окна.

— Вася, — сказала Анна Алексеевна, наклонясь к седой голове, лежавшей, глубоко вдавившись, на подушках, — Шура пришел.

Седая голова медленно повернулась. «Ох, какой!..» — внутренне вздрогнул Севастьянов. Такое он представлял себе, когда читал о мумиях: иссохшее, узкое, темное — только с закрытыми глазами; а на этом лице двигались и светились живые человеческие глаза. Седина волос подчеркивала изжелта-коричневый цвет кожи. Громадные иссохшие коричневые руки были сложены на груди поверх одеяла.

«Что это! Разве можно так измениться! Сколько я его не видел? Полгода? Разве может человек так измениться за полгода!» — думал Севастьянов. Но надо было поздороваться. Он сказал:

— Здравствуйте, Василий Иванович.

Они, ребята, всегда чувствовали перед старым проводником стеснительность: он был суров,

неулыбчив; скажет тебе слово — будто милость оказал. Бывало, они расшумятся в Зойкиной комнате, он пройдет мимо открытой двери, глянет — они начинают говорить тише. А он никому ни разу не сделал замечания.

И в облике мумии он не был жалок, по-прежнему чинный и строгий, опрятно побритый: кругом щетинистые физиономии, а он побрит.

— Здравствуйте, — ответил он и подал руку. — Присядьте.

Анна Алексеевна поспешила пододвинуть табуретку.

«Раньше он говорил мне ты», — вспомнил Севастьянов.

— Видите, какие дела, — сказал Василий Иванович, — скрутило меня как, не ждал и не гадал. Плохие мои дела.

Будь Севастьянов старше и искушенной, он бы ответил принятой в таких случаях ложью: «Ну что вы, Василий Иваныч. Вы превосходно выглядите». Но он еще не умел так лгать, даже не подозревал, что надо солгать. Он молча потупился, склонив голову.

— Я вас пригласил для серьезного разговора, — сказал, подождав немного, Василий Иванович. После этой фразы он стал задыхаться и шептать. Задыхался на протяжении всего разговора — пошепчет свистящим сильным шепотом и остановится набрать воздуха. На шепот перешел, чтобы не услышали лежавшие рядом. И на протяжении всего разговора жена, безмолвно стоя в изножье кровати, смотрела ему в лицо, лишь изредка и на мгновение переводя на Севастьянова полный муки взгляд.

— Придвиньтесь. Еще. Наклонитесь. Ближе, — шептал Василий Иванович. Вы порядочный человек? Порядочности кругом вижу мало. Но про вас хочу думать, что вы человек порядочный. Сужу по тому, как моя дочь к вам относится. Порядочный вы?

— Не знаю, — ответил Севастьянов, беспомощно покраснев. — Думаю, что порядочный...

— Ну так обещайте, что про наш разговор не узнают ваши дружки-товарищи. Вообще никто не узнает, что бы мы ни решили.

— Хорошо, — сказал Севастьянов, удивляясь. — Я никому не скажу.

— Чтобы дочь не узнала, главное. Зочка чтоб не узнала. Ясно вам?

— Ясно, Василий Иваныч.

— Никогда не узнала. Ни теперь, ни когда-нибудь... после. На чем бы мы ни кончили.

— Хорошо. Я и ей не скажу.

— Чтоб до нее и не дошло, что я вас звал и разговор имел. Видите: она у нас с Анной Алексеевной одна, и мне первой всего — ее счастье. Ясно вам?! — выдохнул он со свистом и потряс коричневыми руками. — Зочкино счастье!

Севастьянов смотрел в окно. Зеленые ветки двигались за промытыми стеклами. («Почему не откроют окна? Такая духота».) Он тоже хочет счастья Зойке маленькой. От всего сердца ей желает, чтобы она, такая требовательная и достойная, была очень счастлива, очень. Но это уж от человека зависит — найти свое счастье. Помочь никто не может, и Севастьянов не может. Да Зойка и не нуждается в помощи. Найдет сама.

— Моя дочь, — шептал старый проводник, — не такая, как эти все девицы. Ничего не

оставлял без внимания. Что мог — все... Учил... воспитывал... все предоставлял для развития. Не думайте, — если мы малоразвитые, то не понимаем развития: понимаем! Вырастил...

«Положим, — подумал Севастьянов, — Зойку воспитала советская власть и мы, комсомол».

— Умница. Умница-разумница. Золотая душа. Вот сейчас конец года, важные лекции у ней на педфаке. А был хоть один день, чтоб она ко мне не пришла? Дня не было! Как после операции обход пройдет, я уже на дверь смотрю: и вот она. Приходит заранее и внизу дожидается. Знает, что я лежу и на дверь смотрю. И до вечера со мной. Мне уж все тут говорят — какую, говорят, вы дочь вырастили...

Темное лицо просияло гордыней.

— Покамест не заболел, мы с ней мало бывали. Профессия моя такая: разъезжал. Но когда свободен, всегда около ней. Будучи маленькой, гулять ее водил. — Простерши руку, он показал, какая она была маленькая. — В Александровский сад мы ходили. Сяду на лавочке и смотрю, как она с детишками на песочке играет. Или с горки бегают. Или красных жучков на дорожке собирает. Ходили с ней в цирк, в игрушечный магазин. В гимназию поступила — вместе пошли в магазин Иосифа Покорного. Купили учебники, ранец, весь набор ученический для приготовительного класса. Каждое перышко, что она писать училась, через мои руки прошло. Ну, когда подросла, тогда, конечно, какой ей интерес со мной гулять. Молоденькой девочке молодая требуется компания. Как будто я не понимаю... Но заболел я — она со мной. И прогонять бы стал, так не уйдет. Да. Напоследок насмотрюсь. Наговорюсь...

Он шептал испуганно. Видно, за всю жизнь это самая большая была его любовь — может быть, единственная.

— Слушайте, Шура! Мне ее горя не надо, чтоб она на моей могиле неутешенная плакала! Не надо, не надо! Наклонитесь! Слушайте! Я ее утешенную оставить хочу! Не думайте, что я вообще боюсь ее одну оставить. Не, не боюсь! У ней характер самостоятельный! Она моя умница! Ее ни в какое болото не потянет, и никакой прохвост ее разума не лишит!

— Верно! — энергично кивнул Севастьянов.

— Но хочу, покамест я тут... Слушайте, Шура! Если — возможная вещь так нам с Анной Алексеевной кажется — по душе ей один человек...

— Василий Иванович!

— Вы ее знаете, вы обязаны понимать, что ей по душе прийтись — это надо в сорочке родиться.

— Василий Иванович!

— Да.

— Вы... напрасно боитесь, что Зойка будет одинокой. Вы не бойтесь.

— Да?

— Я уверен. Всегда возле нее будут люди. И всегда ее будут уважать.

— Это-то — я тоже уверен. Слушайте Шура. Уважения сердцу мало. Молодому — тем более. Молодые вы, конечно, совсем молодые. Но теперешняя молодежь рано женится, прежние наши порядки им не указ. Поженились бы сейчас, я б на операцию лег спокойный...

Зеленые ветки, все в солнце, играли листиками за прозрачным стеклом. «Вечно эти старики, — думал Севастьянов, — вечно они, ей-богу... Им с Анной Алексеевной кажется! Бедная Зойка, если б она услышала, вот бы возмутилась, что ее сватают. На Первой линии разве понимают дружбу. Для них все молодые — женихи и невесты».

Он решил не отвечать. «Как я объясню?.. Вам, Василий Иванович, показалось, она меня не любит, я ее?.. Язык не повернется, не могу я рассуждать с ним об этих вещах. Все без слов понятно».

Склонив голову, он слушал, что шепчет старик. Тот шептал, шептал шепот стал слабеть. Анна Алексеевна все стояла в ногах кровати, губы ее были сложены горько и неприязненно.

— ...Понимаю, — шептал Василий Иванович, — что жить вы будете не так, как мы. Что мы нажили своим старанием — вы раскидаете и не пожалеете. Но я понимаю, что по-нашему вам не жить. Я тоже развитый стал. Не только я ее воспитывал: и она меня воспитывала. Я все понимаю. Живите по-своему...

— ...Дурака озолоти, — шептал он, — дураку ни к чему. Дураку хоть царский престол предложь...

— ...Я не могу эту картину видеть, как она на могиле плачет и некому ей слезы утереть — неожиданно громко в лицо Севастьянову, так что тот откинулся, крикнул он. Его стало корчить и швырять на постели в судорогах тошноты. Анна Алексеевна к нему бросилась. Он замахал на Севастьянова рукой — уйди! Севастьянов встал и вышел в коридор. Закурил...

Ему было жалко, жутко. Он закрывал глаза перед видением смерти. Но в то же время чувствовал протест против посягательства на свое тайное, не подлежащее огласке, — свое, Зойкино, чье бы то ни было. Против старости, которая умирающими руками трогает их, молодых. Давайте так: это наши дела, и мы уж сами в них разберемся.

Санитарка несла по коридору судно. Брел, запахиваясь, больной в сером халате, из-под халата болтались завязки кальсон. Анна Алексеевна вышла и сказала с тихой ненавистью:

— Василий Иванович вас просит, чтоб вы уходили. Скоро Зочка может прийти. Чтоб вы не встретились.

Севастьянов спросил: можно ли зайти на минутку к Василию Ивановичу сказать до свидания.

— Лучше не надо, Василий Иванович себя плохо чувствует.

— Передайте привет ему, — пробормотал Севастьянов.

Он еще кое-что хотел высказать. Пожелания насчет вторника. Чтобы операция прошла благополучно. Но Анна Алексеевна так на него посмотрела только что не говорила: ох, да уходи ты.

Он вышел в зеленый сад, и воздух показался ему упоительно свежим.

Вышел из сада на улицу и обрадовался, что она полна здоровых людей.

Домой возвращаться не хотелось. Потянуло в редакцию, в привычную атмосферу деловитости, бодрости, разнообразных интересов, новостей, острот. Подошел трамвай, он сел.

И увидел Зойку маленькую. Она шла по направлению к клиникам. Нахмурясь, сосредоточенно обходила лужу — тротуар поливали, — чтобы не замочить чувячки, такие же на ней были коричневые чувячки, как на Анне Алексеевне, — это они чтоб по клинике тихо ходить,

подумал Севастьянов. В голубой майке, со стопкой книг в руке, она была совсем подросток, школьница.

Она его не видела. Только мелькнула — трамвай рванул, голубая майка осталась позади.

37

Коля Игумнов окликнул Севастьянова, когда тот, приехав в редакцию, проходил мимо его двери:

— Тебя искала женщина.

— Знаю. Она меня нашла.

— Уже? — спросил Коля. — Это твой роман?

— Давай не трепаться, — остановил Севастьянов. — Это моей знакомой мать.

— Это ты брось трепаться. Грубовата немножко, но знаешь, эти скулы, и разрез глаз, и вот здесь на переносице, у бровей, что-то пикантное, познакомь, ладно?

Заглянула уборщица Ивановна:

— Ты здесь, Шура? Тебя к телефону.

То была Нелька, Нелькин жеманный, ненатуральный, балобановский голосок, по балобановским понятиям так полагалось говорить приличной барышне.

— Шура? Здравствуй, Шура, я была у тебя в редакции, но не застала. Я тебя приглашаю — догадайся, на что. Да, ты угадал, Шура. За одного молодого человека. Ты его знаешь. Да, балобановский. Догадайся. Такой шатен. Не можешь, ну скажу. За Жору. Разве это обязательно? Что ты говоришь. По-моему, нисколько даже. По-моему, только лишь в книгах. А в жизни бывает только лишь симпатия. Ну конечно, симпатия есть. Свадьба во вторник, а в четверг мы уезжаем, так что ты смотри приходи, Шура. Кто его знает, увидимся еще или же нет. В Горловку; там Жорин крестный, обещает устроить Жору на завод. Что ты говоришь, Шура, какому молодому человеку? Что-то я не обратила внимания. У вас там много молодых людей. Глаза? Да что ты. Переносица? Как переносица? Я не понимаю, Шура, как может нравиться переносица. Художник? Что ты говоришь. Интересный? А звать? Коля? Ну что же, приводи его. Скажи, что мы приглашаем. У нас, между прочим, будет довольно шикарно. Справляем у Жоры, у них собственный дом.

Нельзя было нанести Нельке такую обиду — не прийти на ее свадьбу, добродушной Нельке, с которой росли вместе, которая латала ему бельишко и поверяла свои секреты. И опять предстоял потерянный вечер — без Зои, но зато почти весь вторник Севастьянов провел с ней вдвоем, возмещая предстоящую потерю. Они взяли лодку и поплыли на

свой берег, в те заветные, горячо-песчаные, медово залитые солнцем места. В будний день там было как на необитаемом острове. Только их голоса звучали под синим небом, когда кому-нибудь приходило в голову что-нибудь сказать. Прожив в тишине и счастье этот необыкновенный, синий, бездонный день своей жизни, к вечеру Севастьянов с Колей Игумновым, с подарками и букетами, на извозчике — Коля не захотел идти пешком — ехал в Балобановку.

Собственный дом, в котором справлялась свадьба, был таким, как большинство балобановских собственных домов: «зала», спальня, кухня. В этих трех коробочках ухитрилась поместиться сотня человек, и не только пить и закусывать, но и танцевать. Две гармони играли в очередь без передышки. Танцоры на расчищенном посреди «залы» пятаке как заведенные выбивали чечетку, припадочно тряся плечами: цыганочка входила в моду, парень в Балобановке не считался парнем, если не умел плясать цыганочку; на свадьбе лучшие танцоры показывали свою квалификацию. Они были в наутюженных брюках, сужающихся к щиколотке, в желтых франтовских туфлях с широким рантом, волосы у всех зализаны назад, и на всех длинные, до колен, белые кавказские рубашки мягкого шелка, с высоким воротом и застежкой из мелких пуговиц — до самого подбородка; талии перетянуты узкими поясами с серебряным набором. (Здесьние ребята вырабатывали свои моды. Когда при белых Васька Егоров, сын извозчика, стал носить черное кольцо с фальшивым брильянтом, то многие парни кинулись раздобывать себе такие же кольца.) «Приделась Балобановка, — подумал Севастьянов, видя кругом добротнo одетых людей, — дела в гору пошли». Впрочем, те, у кого не было хорошей одежды, на свадьбы не ходили: народ в поселке жил самолюбивый.

За столами, оттиснутыми к стенам, сидели тесно, обливаясь потом от духоты. Самогона, браги, пива, вина было разлитое море. Закуска тоже щедрая. Горячие пироги подавались со двора через окна, открытые в багровую закатную пыль. Дядька Пимен, сидевший в почетном углу с тетей Маней и жениховой родней, пел песню, силясь всех перекричать, а тетя Маня кричала на него, угрожая разводом. Все громче и неразборчивей становился гомон. В говоре и выкриках тонул, пропадал дробно-бедовый перебор гармони. Нелька, гордая, довольная, скуластенькая, причесанная у парикмахера, в белом платье и фате с восковыми цветочками, сидела между Севастьяновым и Колей Игумновым и рассказывала им, что можно купить обстановку в кредит, с рассрочкой, и что если Жора, бог даст, поступит на завод, то у нее будет зеркальный шифоньер. Коля, красивый, ослабевший от выпивки, с взмокшими и перепутанными над лбом белокурыми волосами, брал Нельку за руку и говорил задушевно:

— Не надо, Нелли. Не надо про шифоньер. Вы лучше скажите, когда я вас буду рисовать. Почему мы не встретились раньше?

А перед ними, задумчиво на них глядя, выбивал чечетку и тряс плечами Нелькин муж. С руками, повисшими как плети, с тощей вытянутой шеей, в кавказской рубашке, застегнутой до самого его маленького круглого смуглого ребячьего личика, плясал он и трясся, неумолимый, прямой, как деревянная кукла. Когда кричали «горько», Нелька вставала, целовала его и возвращалась, цепляясь фатой за стулья.

— Нелли, — говорил Коля, — я тебя не понимаю, как ты можешь его целовать.

— Коля, что вы говорите, — отвечала Нелька. — Вы не должны говорить, Коля.

Севастьянов пил нехотя и думал о Зое. Она отказалась пойти с ним на свадьбу. Отнекивалась шутливо, придумывая всякие отговорки, и вдруг сказала резко, со слезами в голосе: «Да ты что, слепой, не видишь — мне же не в чем идти! Что мне за удовольствие быть хуже всех!» Он поразился он никогда не думал, что она может считать себя хуже всех и страдать от этого, она, беспечная и лучезарная, избалованная любовью и знающая себе цену. У него открылись глаза. Мужской стыд обжег лицо. Сидел писал письма... Нет чтоб подумать о ней по-настоящему, как о близком человеке, что у нее есть и чего нет и что ей нужно.

— Не сердись на меня! — сказал он. — Я дурак! Мы сошьем платье! Ах я дурак! Ты же так все это любишь. Всякую чепушинку любишь. Бусы из ракушек... Скажи, — спросил он, становясь все более зрячим и с этой новой зрячестью уверенно вступая в мир, где обитала она со

своими желаниями, со своей женской, детской, странной и важной сущностью, — ты в балетный кружок не для того ли записалась, чтобы надевать разные наряды и шарфы, правильно я сейчас подумал? Скажи.

— Да-а, — прошептала она. — Только не говори никому.

— Я вспомнил одну вещь. Это прошлым летом. Ты хотела лакированные туфельки. Так у тебя и не было лакированных туфелек.

— Не было...

— Купим туфельки. Я как зверь буду работать. Я сколько хочешь могу работать. Это я сейчас развинтился, пишу не то, что надо, пишу тебе письма.

Она прижалась к нему.

— Пиши мне письма. Я люблю твои письма.

— Хватит. Больше не буду писать письма. Буду дело писать. — Он быстро соображал, как заработать побольше. — Как раз начались отпуска, за всех отпускников буду работать. А сам в отпуск не пойду, возьму компенсацию сразу мы с тобой разбогатеем.

И — губами трогая шелковистые волосы на ее затылке:

— Только во вторник еще погуляем, хорошо?

Он сильно устал в этот вторник, проведенный на необитаемом острове. Попав с необитаемого острова в гам, звон и мельканье свадебной пирушки, с трудом заставлял себя проделывать что требуется: разговаривать, чокаться, улыбаться. Пить он не привык, а тут все время подливали в рюмку и провозглашали тосты, и как он ни крепился — «зала» пошла ходуном, туман заволок глаза... Туман разошелся: была ночь, горели керосиновые лампы, много жарких слепящих ламп, за столом поредело. Севастьянов поднялся и, раздвинув чечеточников, пошел к выходу. В кухне танцевали падеспань; на сундуке спал Коля Игумнов, подтянув к подбородку длинные ноги. Посреди двора, в падающем из окошек свете, одиноко стояла Нелька, белея венчальным нарядом.

— Будь здорова, — сказал Севастьянов. — Желаю тебе всего.

— Если б ты родной был брат, — сказала она, — ты б меня познакомил раньше. Ты бы не допустил, чтоб я за Жорку вышла мимо своей судьбы.

— Ты выпила, — сказал он. — Это же все трепотня. Он утром не вспомнит, что молол. Уезжай, Нелечка, в Горловку.

И, погладив ее по голове, направился знакомой дорогой.

В черноте, набитой звездами, шел и думал бодрые думы. Скоро начнет светать. Наступит день, трезвый, рабочий. Да здравствуют трезвые рабочие дни! Приду к Акопяну, нагрузите меня, скажу, хорошенько, мне очень надо. Ввиду особых обстоятельств. «Особых» или «семейных»? «Особых». И ты увидишь, Зоя! Этого разложения, чтобы в рабочее время уплывать на необитаемые острова и писать малахольные письма... С этим кончено. Увидишь. Они все зарабатывают своим женам на платья и всякое там барахло, — а я, неужели не заработаю? Это же счастье — заработать для тебя... Сколько все мы тратим времени на гулянье, дуракавалянье, разговорчики, пение песен, — ужас сколько времени. Разболтанность. Безответственность. А еще о вузе мечтаю. При таком образе жизни и рабфака не одолеть. Бесхарактерность: зовут гулять — идешь, наливают тебе самогона — пьешь эту отраву... Чего пил? Ну, чего пил? Ведь от души воротило... В девятнадцать лет —

что я сделал? Ни черта. Тот же Илья Городницкий сколько уже успел, а на много ли он старше?..

Чернота светлела, звезды меркли. Вошел в город — уже только одна звезда легко и алмазно висела на востоке над крышами окраинных хибарок, все было серого цвета и неподвижно. Акации стояли погруженные в сон. Трубы не дымили. Спал сидя сторож на лавочке возле маслобойного завода. Два-три прохожих, должно быть загулявшие, как и он, за весь путь повстречались Севастьянову. Он сделал крюк, свернул на Первую линию. Отсвечивали камни пустых крылец. Мимо подворья, где жила Зоя, прошел он, мимо ворот с низенькой калиткой. «Я тут, я снюсь тебе?..» Хотел войти во двор, но не решился: собаки забрешут по всей Первой линии. Рядом, у Зойки маленькой, жалюзи были опущены наглухо. Севастьянову вспомнилось, что в этот вторник, который только что минул, Зойкиному отцу, Василию Ивановичу, должны были делать операцию. «Ну, если спят, верно все благополучно», — подумал Севастьянов, проходя, — ему не хотелось думать о печальном.

Чутьочку зарозовело небо и по деревьям пробежал шелест пробуждения, когда он добрался домой, предвкушая, как сладко сейчас уснет. Во дворе, как и всюду, — ни души, безмолвье. Грохот его шагов по наружной железной лестнице должен был, казалось, разбудить весь квартал. Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь. Этот кто-то спал, закутавшись в серый платок и прислонясь к перилам, — Зоя! Зоя у его двери! Как мог тише — чтоб не испугать — поднялся он к ней. Лицо ее было закинута к розовеющему небу; губы приоткрыты. Он осторожно сел рядом. Осторожно обнял. Она открыла непонимающие глаза и закрыла снова.

— Зоя! — прошептал он.

Она устроилась удобней у него на груди и сонно задышала.

— Проснись! Пойдем! — будил он шепотом и покачивал ее в руках. Проснись! Как же ты?.. Могла сорваться... убиться...

— Это ты! — сказала она, проснувшись. — Я к тебе пришла.

— А я был на Первой линии. Разговаривал с тобой, а ты тут!

— Ты был у нас? У моих?

— Да нет. Я прошел мимо. Знал бы я — вот балда! Ты давно тут?

— Не знаю. Наверно, не очень. Не знаю. Я ходила по улице...

— Какая ты умница, какая удивительная, что ты тут!

— Он выгнал меня. Он сказал, чтоб я... чтобы я девалась куда хочу.

Она залилась слезами в его руках.

Он смотрел на нее, покачивая. Все было как сон. Розовое небо и сквозная железная лестница, повисшая над пустым двором. И они двое на вершине лестницы.

— Но он же замечательно сделал, что выгнал тебя. Он просто ничего гениальнее не придумает за всю свою жизнь. Я его обожаю за то, что он тебя выгнал! Я не знаю, как его благодарить! Давно бы ему догадаться это проделать — выгнать тебя, чтоб ты пришла ко мне, где же быть тебе, если не со мной, а? Скажи.

Он говорил ей в ухо и прикладывал губы к этому маленькому уху, расплававшемуся от слез, и старался рассмешить ее и успокоить, и ни о чем не спрашивал, чтобы не растревлять ее



обиду, — никогда ни о чем он не спрашивал, она была свободный человек, ее любовь была — прекрасный дар.

— Мы еще долго тут будем сидеть, как ты думаешь? — только это спросил он под конец, и она засмеялась. До чего становилось весело, когда она смеялась и смеялись ее глаза, еще полные дрожащих слез, в мокрых ресницах и уже ликующие, ее глаза — черные зрачки в золотисто-карем ободочке, голубой белок и по маленькому Севастьянову в каждом зрачке.

Он открыл своим ключом дверь черного хода. Остерегаясь разбудить ведьм, тихо прошли они через кухню в свою комнату.

Часа два он проспал глубоким сном и проснулся разом, словно его встряхнули. Встряхнула мысль: «Еды ни крошки; когда она ела вчера? Она проснется голодная». С гордостью и нежностью, которых раньше не знал, посматривал на нее, одеваясь. Обшарил карманы, собрал все свои деньги, мятые бумажки, сосчитал... Она спала. Ее старый серый вязаный платок, порванный во многих местах, висел на спинке кровати. Перед тем как уйти, он взял этот платок и укутал ей ноги поверх одеяла. Не потому, что она могла озябнуть; она не могла озябнуть в это теплое утро; а потому, что ему теперь необходимо стало укрывать ее, кутать, заботиться о ней.

38

Брат и мать считают ее своей собственностью. Так понял Севастьянов из ее объяснений. Многое он предпочел бы не знать. Упоминание о Щипакине было как обухом по темени, но Зоя хотела объяснить, какие отношения у нее сложились в семье, почему она вынуждена была уйти. Когда она собой ради них пожертвовала, они решили, что так всегда будет; что они будут распоряжаться ею как своим имуществом.

До революции они жили под Петроградом, в деревне Пудость. Отец держал маленькую, совсем маленькую, крохотную гостиницу; без вывески даже, но ее знали; в нее приезжали парочки на одну ночь — из шикарных мест вроде Царского, Павловска, — «иной раз такие офицеры приезжали и с такими дамами, ты даже не представляешь, как эти дамы были одеты и какими от них пахло духами!» Отец умер. От войны и голода они уехали на юг к бабушке. Зое было тогда двенадцать лет. Бабушка тоже умерла. У нее тоже все пропало.

— Мы ужас до чего нуждались. Меня кормили у Зойки, а его и маму никто ведь не кормил. И его не хотели принимать никуда, считали, если горбатый значит, слабый, вечно будет на бюллетене. Мы бы просто пропали, если бы он не устроился на работу.

Мать жалеет горбуна и слушается, Зою она не любит и ругает. А горбун Зою ненавидит. Он всех здоровых ненавидит за свое уродство.

— Правда, он думал — Толя женится. — Она мерзавца Щипакина называла Толей.

— Перестань!

— А вчера я сказала что не выйду за этого... за которого они хотят, чтоб я вышла. У него фруктовый магазин на Садовой. Он...

— Перестань! Больше ты к ним не пойдешь. Все кончено, не думай, забудь.

— Как же я не пойду, там все мои вещи, надо забрать.

— Какие у тебя вещи.

— Ну все-таки. Я же совсем без ничего. Выбежала — платок схватила...

— Хорошо, я заберу. Тебе туда не для чего ходить.

— Нет, тебя я не пущу. Ты ненормальный.

— Не бойся, я его не прихлопну. Я не хочу сидеть в исправдоме. Слишком много у меня есть, чтоб я от всего отказался и сел в исправдом.

Он пришел к ним, когда горбун был на работе. Зоина мать месила тесто, босая, с волосами, кое-как сколотыми на затылке гребенкой, руки выше локтя в муке.

— Я за Зоинными вещами, — сказал Севастьянов.

— Она где же? — отрывисто спросила женщина.

— У меня, — ответил он.

Она вытерла руки тряпкой и пошла собирать одежды, валявшиеся здесь и там. Убого, грязно! Вокруг плиты просыпан штыб. Возле кровати лежал среди щепок топор. Женщина обходила его так, словно это было его постоянное место, словно так и следовало топору лежать возле кровати. В кривое оконце, расположенное низко над полом, видна была земля, залитая мыльными помоями.

«За этот стол она садилась, — думал Севастьянов, — здесь по утрам открывала, проснувшись, глаза... И хоть бы что-нибудь, кроме помоев, было видно в оконце, я всегда считал, что у них, наверно, еще хуже, чем в Балобановке, там по крайней мере небо кругом, простор, а здесь все стиснуто... Выходила отсюда за стихами, за танцами, за радостью, а возвращалась-то обратно в этот куток, к братцу и к мамаше...» В жилье пахло какой-то гнилью, как из старой бочки. Головой Севастьянов почти касался потолка.

— Пользуешься! — сказала Зоина мать и швырнула ему узелок. У нее были отекшие щеки и мешки под глазами, но глаза красивые карие, брови длинные, и Зоя и проклятый горбун были похожи на нее. — Пользуешься, сволочь, что человек обиженный, что силы у него нет добраться до твоей ряшки!

Севастьянов взял узелок и вышел. С многочисленных крылечек, из окошек с геранями жители подворья смотрели, как он идет по обставленному лачугами дворику, шагая через мыльные лужи.

На улице под акациями мальчишки играли в айданы, они кричали, как воробьи. Жалюзи на доме Зойки маленькой были опущены по-ночному — наглухо. «Надо справиться о Василии Иваныче. Совестно не зайти, рядом был и не зашел. Зойки и Анны Алексеевны, должно быть, дома нет, ну у бабушки узнаю». Севастьянов поднялся по горячим от солнца камням и нажал белую пуговку звонка. Звонок отчетливо прозвучал за дверь; но никто не вышел, и раз и другой. «Может, они во дворе». Калитка была заперта. Севастьянов постучал.

Мальчишки, игравшие в айданы, обратили на него внимание и, отвлекшись от своего дела, сказали ему:

— Эй, ты! Чего ломишься! Они в больнице все! У них хозяин помирает!

Еще раз он побывал на Первой линии — уже после смерти Василия Ивановича.

О смерти узнал не сразу и на похоронах не был.

Шел и боялся, думал: будет плач, рыдания. Увидят его и заплачут в голос. Станут рассказывать, как мучился, что говорил. И какими словами утешать, разве их можно утешить?

В эгоизме своего счастья он не желал печали, не желал боли, причиняемой жалостью, желал нераздельно принадлежать своему счастью. Шел потому, что как же не пойти — не по-людски, не по-товарищески...

Зеленые жалюзи были подняты, сквозь них белели занавески.

Отворила Зойкина бабушка: глянула через цепочку — кто там — и впустила. На робкое «здравствуйте» Севастьянова ответила густым голосом, ободряюще:

— Здравствуй, зайди, — и важно покивала головой, как бы говоря: «Да, такие у нас обстоятельства, что же делать, тут уж ничего не поделаешь».

Она сказала, что Зочка занимается во дворе. Он прошел через комнаты и кухню, — все было на прежнем месте, аквариум, пианино, цветы, полки с сияющими кастрюлями. Тот же пол, как свежим лаком покрытый, и дорожки от двери к двери — без единой морщинки. Будто никто не ушел из дома навеки. «Как странно», — думал Севастьянов. Он бы счел более закономерным, если бы нашел в доме упадок и хаос, и среди хаоса они бы лежали замертво.

У Зойки оказалась целая компания — два парня и две дивчины, все незнакомые. Они сидели под черешнями на разостланном рядне, кругом были разложены книги, тетради, листочки. Зойка сразу увидела Севастьянова, выходящего из дома, и смотрела на него пристально, не вставая, — по ее лицу двигалась пестрая сетка теней и солнца, и он не мог разобрать выражения этого маленького похудевшего лица, неподвижно обращенного к нему... Это длилось несколько секунд, не больше. Отложив книгу, она встала ему навстречу. Судорога прошла по ее горлу, точно она что-то проглотила с трудом; но она не заплакала.

— Здравствуй, Шура.

— Здравствуй, Зочка. Как живешь?

Он готов был убить себя, уничтожить на месте за этот вопрос! Но, честное слово, это сорвалось с языка от растерянности и беспомощности перед ее горем.

И она это поняла, как понимала все с ним происходящее всегда, всегда. Ей, кажется, даже понравилось, принесло ей облегчение, что он приступает к разговору так обыкновенно, буднично, — словно никто не ушел навеки.

— Вот, немецким занимаемся, — ответила она. — У нас у всех с немецким так плохо, что хуже некуда. Знакомься. — Она назвала какие-то имена. — А это Шура, мой товарищ детства.

Ребята недовольно посмотрели снизу на Севастьянова. Он сказал:

— Я помешал вам.

— Немножко, — согласилась Зойка.

Она стояла, сложив на груди руки и держа себя за локотки. Губы у нее были бледненькие, голубоватые от бледности. И вообще выглядела как после тяжелой болезни.

— Пойдем, пусть они занимаются, — сказала она и пошла впереди, все так же крепко ухватив себя за локти.

— Я тебя еще не поздравляла, — сказала она не оборачиваясь.

— Спасибо, Зойка.

Он ждал, что Зойка спросит: «Почему она не пришла?» Но Зойка не спросила.

Зоя не захотела с ним пойти, сказала: «Ну, на Первую линию мне теперь дороги закрыты», — Севастьянов понял это так, что ей там невозможно показаться после того, как родные ее прогнали. Но по Зойкиному молчанию он догадался, что есть и другая причина. Рассорились, что ли? Или то, что одна счастлива, когда другую постигло несчастье, стало стеной между ними?

— Поздравьте Шуру! — сказала Зойка, вводя Севастьянова в комнату, где ее мать и бабушка сидели друг против друга: бабушка торжественно держала перед собой поднятые руки с распяленным на них мотком шерсти, а Анна Алексеевна сматывала шерсть в клубок быстрыми ловкими движениями.

— Они с Зоей поженились, поздравьте его.

Анна Алексеевна обернулась и уколола его острым взглядом. Бабушка с воздетыми руками многозначительно покивала головой, как бы говоря: «Да, да, такие обстоятельства, тут уж ничего не поделаешь». Они продолжали свое занятие. Стоя возле них, Зойка сказала:

— А я поступаю на работу.

Он знал, что после смерти отца она станет во главе семьи — работница и заботница, ответственная за себя и за этих двух старых женщин.

— Иду учить детей. Меня принимают в железнодорожную школу, в первую ступень.

— А педфак?

— Думаю — окончу. У нас большинство и учится и работает.

— Нелегко! — посочувствовал Севастьянов и покраснел — до того неуклюже прозвучало слово сочувствия. Что ни скажешь — все не то и не так.

— Что же Зоя не приходит? — тихо спросила Анна Алексеевна. — Ходила, ходила...

— Мама! — сказала Зойка и положила ей руку на плечо. Но Анна Алексеевна продолжала, голос у нее срывался от ненависти:

— Пять лет ходила. Что ж перестала? Когда нам хорошо — она здесь, а когда...

Быстрыми движениями она мотала шерсть и светлым, яростно разгорающимся взором вонзалась в лицо Севастьянова, подавшись вперед, — он даже отступил на шаг перед этой ненавистью, которую так неприкрыто выражала ему тихая женщина, прежде спокойная и приветливая. Ясно — ее ненависть вытекает из заблуждения насчет Зойкиных чувств ко мне, подумал Севастьянов. Ему стало тяжело от этого заблуждения, тяжело за ничего не подозревающую Зойку и за Анну Алексеевну, что она мучается, что она придумала себе еще это горе... Все же он тогда не мог угадать подлинных размеров ее ненависти. До конца своих

дней ненавидела его Анна Алексеевна; до гроба не простила ему того разговора в клинике, у постели умирающего; и Зои ему не простила. Беды, постигавшие его впоследствии, она воспринимала как расплату; и все ей было мало, все, казалось ей, он недоплатил. И любовь к дочери никогда не могла заставить ее, исступленную мать, говорить с Севастьяновым по-доброму и смотреть на него иначе, как этим пронзительно светлым колющим взглядом.

— ...а когда плохо нам — ее нет, — выговаривала она с болью.

— Мама! Мамочка! — укоризненно повторила Зойка, а Севастьянову сделала властный знак — молчи, не отвечай.

— Зойка! — заорали во дворе. — Зойка!

Зойка выглянула в открытое окно, крикнула: «Сейчас приду!» — и вернулась.

— А через несколько дней, — сказала она, глядя мать по спине, — мы с мамой уезжаем в Ейск. Договорюсь окончательно насчет работы, и сейчас же мы уедем. На все лето.

Это прозвучало предупреждением: не трудись приходить, меня здесь не будет.

«Такие обстоятельства», — подтвердила бабушка, покивав головой.

«Я им ни к чему; уходить надо». Трудно было стоять столбом посреди комнаты — «сядь» никто не сказал. Он виноват, конечно, он тоже, как Зоя, не был с ними в их черные дни, Зойка маленькая разочаровалась в его дружбе и хочет, чтоб он ушел. Раньше она этого не хотела. Но мало ли что было раньше, отношения разладились, у каждого теперь своя жизнь, они не находят, что сказать друг другу... Зойка умолкла, у нее усталый вид. Она от него устала, от его немоты, неуклюжести, ненужности. Ей хочется к тем под черешнями, она им крикнула: «Сейчас приду».

— Значит, так.

— Значит, так.

— Помочь чего-нибудь не надо? С поездкой. Упаковать, проводить...

— Спасибо, ничего не надо.

— Ну, до свиданья. Будьте здоровы. Хорошо съездить вам.

— Будь здоров, — покровительственно сказала бабушка.

Через тихие чистые комнатки, полные зеленоватого — от жалюзи аквариумного света, Зойка проводила его до парадной двери. Он шел, радуясь, что уходит из дома, где не знаешь что говорить, где одни тебя ненавидят, а другие к тебе равнодушны... Но когда прощались в передней вдруг ощущение утраты охватило его, такое тревожное, что он не сразу выпустил ее руку, хотя она и глядела на него далекими глазами.

— Зойка! Слушай! Я страшно хочу, чтоб ты скорей успокоилась. Чтоб тебе было хорошо. Ты знаешь, правда же — я по-настоящему хочу, чтоб тебе было очень хорошо! Слушай, пожелай и ты мне... Ты даже не сказала, что ты об этом думаешь.

— Да, я хотела сказать, — торопливо произнесла она, — я забыла сказать — я рада, что Зоя ушла наконец из семьи, сколько раз я говорила уходи. Мы звали ее жить к нам, но они не позволили... Я рада... Она веселая?

— Да.

— Ты ее любишь.

— Да.

— Она прекрасная.

— Правда?! Правда?! — переспросил Севастьянов в восторге от ее одобрения.

Бледные губы бледно улыбнулись его восторгу.

— Ты так счастлив, — сказала Зойка маленькая, — что тебе прибавят мои пожелания? Будь счастлив всегда, как ты счастлив сейчас.

И он переступил этот порог и захлопнул за собой дверь. И зеленые жалюзи, сощурясь, смотрели искоса, как он уходит по солнечной улице.

40

Ведьмы стали очень прилично обращаться с Севастьяновым после того, как Семка Городницкий переселился к брату. «Кто же его брат?» — спросили они; ответ подействовал волнующе. Каким-то образом ведьмы узнали и о квартире с казенной обстановкой, и о Семкиной поездке на курорт (не иначе — подслушивали под севастьяновской дверью); и, кажется, им вообразилось, что Севастьянов тоже этакий заколдованный принц, что ли, живет-живет в полупустой комнатушке, умывается над кухонной раковиной, а потом и за ним вдруг явятся короли и королевы и уведут в шикарную квартиру с казенной обстановкой... Они даже стали говорить Севастьянову «здравствуйте», и он им отвечал благодушно, он был парень уживчивый.

Но стала приходиться Зоя, и они опять выпустили свои когти. Севастьянов терпел. Когда же Зоя совсем к нему переселилась, он вышел в их бушующий курятник и произнес небольшую речь:

— Это моя жена. Прошу нам выделить место, чтобы мы могли поставить наш столик и примус. Нападки прошу прекратить, чтоб мы их больше не слышали.

Его ведь не было дома почти целый день, он должен был обеспечить Зое спокойное существование.

И ведьмы присмирели, они поняли, что он уже не мальчик, но муж, на них произвела впечатление его уверенность. Окончательно же приручила их Зоя. Кого угодно умела она очаровать! Не прошло и недели, как ведьмы ей уже улыбались и угощали пирожками.

— Вот черт. Как ты добилась?

— Я не добивалась. Я не понимаю, что вы нашли в них страшного. У нас на Первой линии куда скандальней были тетки. Эти мне рассказывают свою жизнь...

— Может быть, дело в том, что мы с Семкой их не просили рассказать нам свою жизнь?

— Очень может быть, — ответила она убежденно. — Им же надо кому-то рассказывать. А друг другу они давно рассказали и спели.

— Спели?

— Да. Эта, которая носит валик на голове, Ольга Кирилловна, — она мне поет романсы, которые пела в молодости.

— А инвалиды тебе тоже поют? — спросил он смеясь.

Она и с инвалидами подружилась, и они с ней раскланивались и заговаривали приятельски, и играла и бегала по двору с Дианой, собакой Кучерявого.

Собака прижималась к ее ногам и заглядывала ей в лицо.

Люди и собаки льнули к ней.

Севастьянов был здорово загружен. Акопян отнесся к его просьбе чутко — завалил его работой выше головы; в ячейке приходилось замещать секретаря, молодого печатника, ушедшего в отпуск. Но, несмотря ни на что, раз-другой в день Севастьянов забегал домой проведать — как там Зоя; увидеть ее, услышать, увериться, что все обстоит так же, как три часа назад... Все обстояло так же и даже еще лучше. И полно событий было начало лета.

Он вел ее на базар, чтобы накормить. Вел за руку, как ребенка. Над степью пролетала в это время гроза, краем зацепила город; докатывались ее раскаты, дождь шел, а солнце продолжало сиять. Они не спеша беззаботно шли под теплым дождем. Ее темные кудри намокли и стали почти черными. Платье облепило плечи. И на губах была влага дождя, когда он поцеловал эти губы. Навстречу шли с базара молочницы, гремя пустыми бидонами, и смотрели на них с негодованием, которое их смешило.

Пришли на базар, он ее кормил своими любимыми кушаньями. После всего купили клубники и ели ее на ходу, такое было удовольствие — выбирать для Зои самые крупные ягоды. Почему-то им необходимо было наточить нож. Лакомясь клубникой, промокшие до нитки, они искали точильщика. Тот стоял под навесом рыбного ларька, где гирляндой висели на веревке копченые рыбцы такого цвета, как начищенный самовар. Точильщик точил нож, бенгальскими звездами слетали с точила искры. В соседнем ряду торговали свежей рыбой: длинным валом было навалено животрепещущее мокрое серебро. Серебро дождя поливало эти груды сулы, чебака и сазанов, перламутровые глаза и дышащие жабры на малиновой подкладке...

В другой раз их настигла настоящая гроза, они пережидали ее, вместе с другими прохожими, в чьем-то темном парадном. Когда грохот ливня и грома утих, вышли на добела умытую улицу. По мостовой, в гребнях пены, скакал поток. Пришлось разуться. Севастьянов засучил брюки. Босиком перешли они бурный поток, неся обувь в руках. И смеялись, все им было смешно.

Тем ножом она порезала палец. Как он испугался! — до холода в спине при виде крови. От испуга накричал на Зою: голова садовая, надо же помнить, что нож наточен! Он видел кулачные бои, сам, пацаном, в кровь бился с пацанами; но здесь была ее кровь, бегущая струйкой из ее пальца, из продолговатой, как виноградина, подушечки ее пальца...

Покупали материю на платье. Она вошла в магазин с благоговейным выражением. Тихим взволнованным голосом сказала продавцу: «Покажите, пожалуйста, маркизет», — старик продавец понял, что случай чрезвычайный, огромный, и отнесся к ней так внимательно... Осторожно щупала, перебирала, поглаживала ткань ласковыми руками, — один палец был перевязан белой тряпочкой...

Ходили в кино (тогда оно называлось «биограф»); смотрели «На крыльях ввысь», и «Банду батьки Кныша», и американские картины с ковбоями и погонями, и старые картины с Верой Холодной — неправдоподобная жизнь в особняках и виллах, любовные измены, адская ревность с смертельным исходом. Что бы они ни смотрели, они ежеминутно целовались, словно им больше нигде было целоваться, кроме как в биографе, в сумраке сеанса. И руку ее

он крепко держал в своей, кто бы там на экране за кем ни гнался и кто бы ни травился.

Бывали в театре и на концертах, она все это любила еще больше, чем он. «А куда мы пойдём сегодня? — спрашивала. — А куда пойдём завтра?» В молодежный летний клуб пошли два раза и перестали ходить: там мелькало желтое болезненное лицо Спирьки Савчука и на всех аллеях, куда ни сверни, болтал, резвился, вертелся перед девчатами нарядный, пропахший кожаным запахом, розовый и милостивый, как девочка, Ленка Эгерштрот. Савчук отворачивался, а Ленка позволял себе как-то очень странно поглядывать на Севастьянова, очень обидно, с сожалением, — этот пижон! И что еще странней и обидней: Севастьянов не отваживался подойти и спросить — «ты почему так смотришь?» Его щеки тяжело горячили от Ленкиных взглядов, он слышал, как Зоя, идя рядом, начинает хохотать без причины нервным хохотом, который ему не нравился и был непохож на ее настоящий смех, — и он говорил: «Уйдем». Зоя, видя его настроение, сказала, что в молодежном клубе скучно и ей надоели мальчишки.

И без молодежного клуба можно было хорошо провести вечер. В гостеприимный теплый город приезжали из Москвы на гастроли театры, певцы, музыканты. Контрамарки всегда удавалось достать через редакцию.

Был один концерт... По глупости и серости Севастьянов не заинтересовался фамилией певицы. Когда объявляли, не слушал, а после не догадался заглянуть в программку — узнать, как звали человека, который, явившись ему однажды и мимолетно, запомнился на всю жизнь. Немолодая, сухая, высокая, острые локти, большие руки. Большой рот становился удивительно красивым, когда она пела. А пела она о любви Севастьянова, только о любви Севастьянова, ни о чем другом; и пристально, казалось ему, глядела на него близко посаженными темными глазами, и он ей улыбался смущенно-благодарно, тронутый ее сочувствием, ее совершенным пониманием того, что в нем делается. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный... торжествующе пела она, это было молодое, первое торжество Севастьянова, во тьме твои глаза блистают предо мною»... «Я чего-то так робко, так трепетно жду», — пела она потом иначе, медленно, приглашенно, как сквозь дымку, это Севастьянов рассказывал о нынешнем своем постоянном ожидании нового и нового потрясения счастьем. Темные, близко посаженные глаза глядели на него умно и задумчиво. «Она знает! — думал он, полный ответного понимания. — У нее это было тоже!» И хотя, например, слова романса «Редет облаков летучая гряда» не подходили к его состоянию, но дело ведь не обязательно в словах, дело в том, как спеть, в музыке, усиливающей тревогу, порыв ожидания. И словно подытоживая то, что носил в себе Севастьянов, женщина пропела негромко: «Открылась душа, как цветок на заре», — и началась ария Далилы, ария, которую с тех пор и навсегда не может услышать Севастьянов без того, чтоб не дрогнуло в нем что-то и не увиделся зал, рояль высоко на эстраде, и белое платье певицы, и сам он, напряженно слушающий повесть своей любви. «От счастья замираю! От счастья замираю!» — пел, заполняя зал, распахнутый ликующий голос, — Севастьянов замер и закрыл глаза.

Потом думал: что за контакт с незнакомым человеком, что за нитка вдруг натянулась между ними.

Конечно, она не на него смотрела, у нее глаза такие, немного скошенные, кажется, что смотрят на тебя. А нитка все-таки натянулась.

До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание.

Много добра накопили люди, думал Севастьянов. Зданиями, словами, чувствами обстроили и заселили землю. И как прекрасно — к тому, что накоплено, приложить свою часть, думал он.

Не просто быть и исчезнуть, а оставить после себя что-нибудь достойное быть сбереженным.



Достойное быть унесенным в перспективу веков! Какая высокая судьба!..

...А пения такого он больше уже не слышал, хоть и переслушал за свой век несчетное число певцов и певиц.

41

Севастьянов писал в редакции. Вошел Кушля. С порога уважительно оглянув пишущих репортеров, прошел к севастьяновскому столу, сел и развернул газету.

— Я сейчас! — сказал Севастьянов. — Заканчиваю!

Они по телефону уговорились, что Кушля зайдет за ним в редакцию и поведет показать сына.

Кушля сидел, важно хмурясь, и делал вид, что читает. Но он не мог скрыть свое праздничное настроение, оно разглаживало складки между его бровями, расправляло все его мятое лицо и разливалось вокруг него сиянием. Он был побрит и густо присыпан пудрой — парикмахер Иван Яковлевич пудры не жалел.

— Замечательная вещь! — сказал он мечтательно, когда они шли по улице. — Ты не поверишь: ручки, ножки, — дорогой товарищ: копия моих! Ну, не поверишь: ноготки моего фасона! — Он любовно посмотрел на свои ногты и показал их Севастьянову. — Такой ноготок, что его почти и не видно, а отлит по этой самой форме, в точности. Глазки голубые: тоже мои; у Лизы серые. Одним словом: мы с ним как две капли воды. Смотрю на него — и веришь: реву. Я, как ты знаешь, крепкой породы, а тут реву и реву. Самому смешно. Ей-богу. Вообще, скажу я тебе: жизнь — хорошая штука!

— Спрашиваешь.

— Хорошая штука. Она тебе, конечно, иной раз такую пакость преподнесет, что даже удивляешься — откуда столько на твою голову... но и награждать умеет. Умеет! И я заметил — уж когда она возьмется награждать, то награждает щедро, надо ей отдать справедливость, — на тебе одно, на другое, на тебе третье!.. Я сына хотел: родился сын. Десять фунтов с четвертью — не каждый, учти, ребенок имеет при рождении такой вес... Теперь — ты послушай — предстоит мне наконец желательная перемена, ну ты знаешь.

— Да что ты! Поздравляю!

— Да. Мне эта петрушка, понимаешь, надоела, что я пишу, они читают, а дело ни с места. Я пошел к Дробышеву. Говорю ему — товарищ Дробышев, у меня желание работать в прессе. Вот, говорю, я тебе почитаю. Он говорит оставьте, я сам прочту. Нет, говорю, читай тогда при мне. Немножко с ним поспорили. Но потом я оставил, и вот сейчас был у него за ответом. Я тебе скажу — он партиец настоящий. Акопяну что главное? Ему главное — как написано. Каждое слово перебирает и придирается. Можно лучше написать, можно хуже. У одного большой талант, он, ясно, лучше напишет, у другого талант немножко меньше — он напишет немножко хуже. А Дробышев смотрит в самую суть, он смотрит: кто писал.

— И что он сказал тебе?

— Он привел мудрую пословицу: терпенье, говорит, и труд все перетрут. В данный, говорит, момент не могу вам ничего предложить, но вот с осени будет у нас сельская газета, по типу центральной «Крестьянской газеты», мы вас туда устроим. Я, говорю, хочу такую должность,

чтоб меня печатали. Ну что ж, говорит, будете разъездным корреспондентом, селькоровское движение будете организовывать, это одно с другим связано. Поскольку, говорит, вижу я, вы знаете деревню. А то мне не знать деревню!.. «Советский хлебобороб» будет называться газета.

— По-моему, Андрей, это очень тебе подойдет!

— Что значит подойдет — можно сказать, превосходит самые смелые фантазии. Разъездной корреспондент!

— А насчет жилплощади не говорил с ним?

— Говорил. Обещает. Не сразу, но до зимы обещал устроить что-нибудь. Уж это точно, заметь: если начнет получаться, то подряд все получается. Как по щучьему веленью... Обязательно, сказал, что-нибудь вам с семьей устроим. С семьей! Слышишь? — сияя, спросил Кушля и ткнул Севастьянова локтем. И вдруг глубоко помрачнел. — Да, а с Ксаней-то не решена проблема. И покамест я эту проблему не решу, будь уверен, пусть мне Дробышев хоть всю редакцию, понимаешь, под жилье дает, я из своего угла не выйду и с семьей не объединюсь, потому что это будет с моей стороны очень и очень нехорошо!

Он утер глаза.

— Жалко ее — не можешь себе представить, до чего. Как вспомню о ней сердце кровью обливается. Так вот идешь человеку навстречу в его чувствах и не думаешь, каково обоим это будет расхлебывать! А голова, между прочим, дана, чтоб думать, верно?

— И что же ты теперь думаешь?

— Мы вместе думали, — ответил Кушля, сморкаясь, — ей тоже ясно, что как-то надо же выходить из положения. Поскольку Андрюшка налицо. Прежде не было, понимаешь, определенности. Она вполне имела право надеяться, что, возможно, в ее пользу обернется дело. Обе они надеялись и такое, ты знаешь, кругом меня развели... Мы с ней беседовали откровенно. Ты, говорю, пойми, что такое сын. Он меня своими ручками и глазками вот так взял и уже никогда не отпустит. Она говорит — я понимаю. Я ее спрашиваю: можешь перестать страдать? Можешь ты переключиться на какую-либо деятельность? Она говорит: ничего я не могу. Ты, говорит, меня куда-нибудь девай. Обсудили мы вопрос всесторонне, и написал я, знаешь ли, на родину, в Маргаритовку.

— Хочешь отправить ее в Маргаритовку?

— Да, хочу ее туда отправить.

— Считаешь, что это выход?

— Единственный выход, дорогой товарищ, и неплохой выход! — убежденно ответил Кушля. — Либо нам уезжать с Андрюшкой и Лизой, либо ей. А то она возле отделения как нанятая ходит и отчаивается, и может кончиться тем, что она со своим упадочным настроением под трамвай ляжет: тогда что?.. Не зря, нет, не зря она просит: девай меня куда-нибудь. Ей и самой уж хочется просвет найти и жизнь свою нескладную переменить, да не знает как. Теперь: что мы имеем в Маргаритовке? В Маргаритовке, считай, половина жителей носит фамилию Кушля. И наряду с кулаками Кушлями и сволочами Кушлями есть и пролетарский элемент под той же фамилией. Двоюродный брат мой, например, Кушля Роман — председатель сельсовета, бедняк по социальной сущности. И тетка есть беднячка, — слушай, — незамужняя, хвора, живет одна. Лежит который год, летом на лавке, зимой на печи, напиток подать некому, а хлеб пекут ей обществом, в очередь, чтоб с голоду не померла. А хата у тетки своя, и ничего еще хата, жить можно. Я как вспомнил про эту тетку — да вот же

оно, спасение, думаю! Написал брату Роману: мол, болеет у меня супруга — «супруга» написал, нельзя иначе, а то как на уличную будут смотреть, хотя какое бы их дело, а?.. Болеет, написал, супруга сердечной болезнью — насчет болезни истинная правда, — и прошу, чтоб она у тети Ефросиньи Михайловны пожила на лоне природы. Деньги буду высылать сколько могу, а она за тетей Ефросиньей Михайловной присмотрит по правилам, имея медицинское образование; и хозяйство будет вести своей женской рукой.

— И Ксаня согласилась?

— Согласилась. Поплакала сильно, но согласилась. Куда-то деваться надо же. А куда, кроме Маргаритовки?.. Не говори! — попросил Кушля, видя, что Севастьянов что-то хочет возразить. — Вот посмотришь: если это дело выгорит — замечательно будет! Ксаня успокоится, это одно: места новые, воздух великолепный. Сейчас там жердёл полно, скоро вишня поспеет. Море... Море, правда, такое, что на версту от берега уйдешь и все по щиколотку, а все ж таки море. Она и здоровье свое поправит, и меня забудет, чего и ей желаю и себе. Второе. И главное. Надеюсь я от всей души, чтоб она воскресла как активная личность. Я Роману описал, какую она имеет квалификацию. Ведь она и перевязки, и банки, и нарыв разрезать, все умела как нельзя лучше. Как нельзя лучше! И вот я думаю. Больница там за шестьдесят верст. Да захоти только Ксаня — к ней валом народ повалит! У нас знаешь как любят лечиться? Спасу нет до чего любят! Валом повалят и всё ей понесут, первым человеком она может стать, если захочет. И мужа найдет, и дети будут, и с меня эта ошибка снимется. Дорогой товарищ, я разобрался и признаю: моя это ошибка, нечего на бабью дурную голову валить. Личная моя ошибка, и чувствую я ее — не поверишь, как больно!

Но он уже опять сиял, так утешила его картина Ксаниной будущности. Лучезарная эта картина позволяла ему с чистой совестью упиваться собственными радостями, сегодняшними и предстоящими. Обычно степенный, внимательно выслушивающий собеседника, он был в этот раз возбужден, взмахивал руками, говорил без передышки, не давая Севастьянову вставить слово.

— Еще одну вещь хочу тебе сообщить очень важную. Не знаю, ты помнишь ли нашу беседу насчет твоих знакомых девчат, не помнишь? Я высказывался, как меня обделила судьба, что за всю мою жизнь я не знал, что оно такое дорогая и чистая женская дружба! Вспомнил? Ну так вот: она ко мне заходила.

— Кто?

— Зойка маленькая. Лично ко мне. Сижу, понимаешь, вечером один, Гришка домой ушел (Гришка был новый помощник, взятый на место Севастьянова). Отворяется дверь — она. Здравствуй, говорит, мимо шла и зашла, давно вас не видала, как поживаете? И здороваемся за руку. Мне неудобно выкладывать мои мужские новости, что, мол, Лиза в родильном доме, рожает и так далее, — я спрашиваю уклончиво, как вы-то живете-можете? У меня, она отвечает, большое несчастье: умер мой папа. Смотрю — она худенькая, бледненькая, я поначалу так очумел, что не заметил. И всегда она была не шумная, а сейчас вовсе тихая стала, и шагов не слышать, будто по воздуху ходит. Говорю — боже мой; я и не знал; когда же, спрашиваю, от какой причины? И ты не поверишь: сели мы с ней на подоконнике рядышком! Рассказала, как отец болел, как она у него в больнице бывала каждый день, а последние дни они с матерью от него не отступали, разрешили им, — и как отец с ней разговаривал и беспокоился, чтоб она не горевала и на могилу к нему чтоб поменьше ходила, — нечего тебе, сказал, на кладбище делать, делай свое дело молодое! Видать, любил ее. Сказала, что в железнодорожной школе будет работать с осени. Все, в общем, свои новости изложила мне как другу. Как другу! — повторил Кушля, блестя глазами.

«Это я, — думал Севастьянов, — должен бы сидеть с ней рядом, и мне она должна была все это рассказать. А я пришел бесчувственный, как деревянный чурбан, боясь, как бы не

опечалиться ее печалью, она мою боязнь моментально увидела и выставила меня в два счета, — правильно сделала...»

— И понимаешь, — продолжал Кушля, — так мы с ней дружески рядом сидели, так она хорошо на свои колени облокотилась и голову ко мне повернула, что я сам не заметил, с чего начал, но слышу — уже делюсь с ней напропалую: и про Ксаню, понимаешь, и про Лизу, и что Лиза рожает в данный момент, и всей своей автобиографии коснулся слегка, чтобы пояснить ей мою драму. Спросил: что вы мне посоветуете. Она поддержала, что моя мысль правильная: ребенок — главное. Взрослый, говорит, может перенести разочарование и крушение... что-то в этом духе сказала... А ребенку, говорит, нужен отец, чтоб воспитывать и защищать. Именно! Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку, я так же само понимаю! Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!.. Великолепно, дорогой товарищ, побеседовали, культурно и душевно! Говорю тебе: уж если повезет, то везет во всем!

Неиссякаемо юно было это сердце. Неудачи не ложились на него грубыми рубцами, оно оставалось открытым для высоких и нежных впечатлений, и ярко-голубые глаза лучились.

— Ну, музыка недолго играла: пришла Ксаня. Села напротив нас, семечки лускает и смотрит — представляешь, как смотрит!.. Зойка встала и говорит: я попрощаться, собственно, зашла, мы с мамой завтра уезжаем на лето к знакомым в Ейск. Оглядела помещение — а у вас, говорит, ничего не изменилось, те же столы и стулья, даже паутина на потолке, пошутила, та же самая... Попрощалась и ушла, как сон!

Они приближались к цели своего похода. Севастьянов завидел стоящую у ворот толстуху Лизу в розовой блузке, с белым свертком в руках. Притопывая каблучком, проворно двигая пышными плечами, она качала сверток и улыбалась навстречу Кушле.

— А мы папочку встречаем, встречаем! — тонким голосом не то пропела, не то прокричала она, когда Кушля и Севастьянов подошли поближе. — А мы за папочкой соскучились, соскучились!

Кушля сделал строгое лицо и осторожно раздвинул кружевца на свертке. Среди кружевной белизны показалось крохотное темно-красное спящее личико.

— Спит Андрей Андреич, — сказал Кушля, сверху важно глядя на ребенка. — Двенадцать суток исполнилось Андрею Андреичу.

— Двенадцать суток с половиной! — живо уточнила Лиза и, качая, поднесла ребенка Севастьянову. — Похожи мы на папочку?

— Страшно похож! — ответил Севастьянов. — Изумительно!

Кушля не принял шутки.

— То-то, брат! — сказал он с достоинством.

В присутствии Лизы к нему вернулась его степенность. Словно не он, размахивая руками, ребячески восторженно изливал сейчас Севастьянову свои планы и новости. При Лизе и Ксане он всегда держался внушительно, слегка загадочно.

— Дай-ка его сюда, — сказал он и, взяв сына из Лизиных рук, понес в дом. Лиза мелким бегом побежала за ним на каблучках.

Она жила с двумя сестрами и Андрюшкой в маленькой комнате, заставленной вещами. Первым долгом бросался в глаза высокий черный манекен; он стоял против двери, воинственно выкатив грудь. Была тут ножная швейная машина, за нею сидела и шила одна из

Лизиних сестер. Была гладильная доска; другая сестра на ней что-то гладила паровым утюгом. Две кровати с множеством подушек в кружевных и вышитых наволочках, комод с множеством флаконов, коробочек и фотографических карточек и стол, на одной половине которого было накрыто к обеду, а на другой лежали куски раскроенной ткани. На стене висело какое-то рукоделье, изображавшее Пьеро в черной бархатной шапочке и тюлевом воротничке, а рядом — детская цинковая ванночка. Пол засыпан был обрезками материи.

Как Севастьянов ни отказывался, его заставили пообедать, пристали: «Уж покушайте с Андреем Никитичем!» Прежде чем усадить их, Лиза сняла со спинок стульев развешанные пеленки и смахнула с сидений лоскутки. Обедали Севастьянов и Кушля вдвоем. Одна из сестер не переставая шила, то на машине, то иглой, и иногда, подняв голову, взглядывала на обедающих мужчин, и по лицу ее разливалось удовольствие. Другая сестра подавала и принимала со стола. А Лиза то пеленала ребенка, то нянчила его, крутясь на свободном от мебели и людей местечке между Кушлей и манекеном, пристукивая каблучком и приговаривая:

— А теперь наш папочка селедочки скушает! Скушай селедочки, папочка! А теперь нашему папочке пивка принесут! Выпей, папочка, пивка!

— А вы пиво остудили? — спросила, поднимая голову, та, что шила. Андрей Никитич не любит, когда теплое.

— Остудили, остудили! — в два голоса ответили Лиза и другая сестра. Конечно, как можно теплое!

Обед был сытный, обильный. К пиву были поданы раки. Кушля сидел за столом как глава семейства, окруженный почтением и заботой. Видно было, что так его здесь приучили. Он принимал это как должное, но поглядывал на Севастьянова, спрашивая без слов: «Замечаешь, как меня ценят? Замечаешь, какая у меня уважительная и дружная семья?» И, вспомнив его рассказы о Тихорецкой и Великокняжеской, Севастьянов порадовался, что ему хорошо.

После обеда Севастьянова пригласили подойти к кровати и полюбоваться Андрюшкой, которого специально развернули для обозрения. Вид невыносимо беспомощного маленького тельца с дрожащими ручками и ножками скорее ужаснул Севастьянова, чем умилил; но чтобы не расстраивать родителей, он почмокал над дрожащим тельцем губами; пощелкал пальцами и подтвердил, что ребенок первый сорт, что глазки у него Кушлины, ногти Кушлины и носик тоже Кушлин. Ему казалось, что он врет без стыда и совести. Но через шесть лет, приехав из Москвы в командировку, он видел маленького Андрюшу вылитый был Кушля, только шестилетний, беленький и свеженький, в трикотажном костюмчике; со свеженького детского лица два ярко-голубых глаза невинно и лучисто посмотрели на Севастьянова — глаза отца, старшего Андрея Кушли.

42

Зоя не захотела ребенка.

— Ну что ты, — сказала она, — куда нам. С ума сойти.

Он смущенно промолчал. «Действительно, — подумал, — как она управлялась бы, такая молодая и ничего не умеет, самой еще хочется побегать и побаловаться на воле, и бабушки у нас нет присмотреть за маленьким, как у людей присматривают». Женщина с злым лицом и

мешками под глазами, что швырнула ему Зоин узелок, в счет не шла — бабушки такие не бывают, и у Зои там все кончено.

Он взял аванс — тридцать рублей, заплатить доктору, и проводил Зою, вернее она его проводила, потому что она знала адрес, а он не знал. В темной передней они простились, неловко и наспех, шепотом, как заговорщики. Зою доктор увел в комнаты, а Севастьянову велел прийти за ней вечером. Севастьянов медленно шел прочь от дома, где она осталась, и думал — не оговорился ли доктор: не может быть, чтоб вечером она была уже настолько здорова, чтобы идти домой. Он слышал, что это дело опасное и кровавое; и она была бледна, когда, уходя в докторские комнаты, закрытые для Севастьянова, оглянулась и принудила себя улыбнуться. Ему эта обреченная улыбка причинила прямо-таки физическую боль. Причиняло боль и то, что доктор, видимо, раньше был знаком с Зоей и обращался с ней přátельски и небрежно...

Эту мысль Севастьянов отгонял, как привык отгонять все мысли, оскорбительные для Зои. Но что ей больно, что она лежит с этой болью одна в какой-то неизвестной ему страшной комнате, — этим не мог не мучиться весь бесконечный день... Сбегал домой, прибрал немножко, положил на стол плитку шоколада — она любила. Потом застал себя на той улице, перед тем домом. Докторская квартира была на втором этаже. Задрав голову, Севастьянов разглядывал окна второго этажа. Вышел на середину мостовой, чтобы лучше видеть. Окон было много, на одних висели тюлевые гардины, на других полотняные, невозможно было определить, за которой из гардин ее прячут, что с ней делается...

Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На этот раз его и в переднюю не пустили, велели ждать на площадке. Но при этом сказали: «Сейчас она выйдет»; гора с плеч... Она вышла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. Волосы ее зачесаны были гладко, и это вместе с бледностью делало ее лицо по-новому трогательным, страдальческим. В руках у нее был маленький сверток в газетной бумаге — ее одежды. «Возьми», ласково-покровительственно, как взрослая мальчику, сказала она и отдала сверток Севастьянову. Дверь за ней захлопнулась. Молча, тихо, чуть-чуть притронулся он губами к ее прохладному лбу; взял за руку и повел вниз по лестнице...

Дома она легла в постель и ела шоколад, отдыхая от пережитого, и он поил ее чаем. И стерег, сидя возле кровати, пока она не уснула. В бережной тишине кончался вечер. Смуглел прямоугольник окна; света Севастьянов не зажигал. Как там во дворе разговаривали, свистели, ходили — их не касалось и потому не существовало. В их комнатке темнело и стемнело, в темноте царило молчание покоя, глубокого мира после тревоги. Позвякиванье ложечки в стакане, нечаянный скрип стула — и безмолвие снова, и в безмолвии очертания ее головы на отсвечивающей белизне подушки, ее рука, покоящаяся под его рукой...

Дня через два она бегала с Дианой как ни в чем не бывало. Жизнь пошла по-прежнему. Но Зоя стала жаловаться на скуку:

— Я без тебя просто умираю!

Клуб, где она танцевала, на лето закрылся, да она уж и охладела к танцам, к тому же в этом клубе служил ее брат, ей не хотелось встречаться с ним. Она читала книги, которые брала в библиотеке и у ведьм, — читала быстро, глотая книгу за книгой, но без особенного интереса, будто даже свысока, не придавая значения тому, что там написано, — прошло время, когда она благоговела перед пишущими и их творениями... Она играла в мяч с детьми, болтала с инвалидами, с Кучерявым, но это не могло заполнить ее день.

— Скуча-а-ла! Умира-а-ла! — наивно подняв брови, жаловалась она, когда он спрашивал, что она без него делала.

Он понимал: кому угодно в конце концов осточертеет праздность. Очень приятно заставить ее

дома, когда ни забежишь; но это — собственнические, буржуазные инстинкты; человек должен трудиться. Стал советоваться с товарищами в редакции и в типографии, как бы пристроить ее на работу. Но ничего еще не успел придумать и ни от кого получить совета, как она ему сказала с воодушевлением:

— Знаешь, я устроилась!

Ее пригласили к себе инвалиды — буфетчицей. Как буфетчицей, у них и буфета нет? Ну, ради нее, Зои, организуют. Ну, не ради нее, конечно; просто жизнь им подсказывает. Ведь не все посетители хотят непременно пить за столиком кофе или есть мороженое, некоторым желательно просто купить пару пирожков, или даже один пирожок, и унести с собой, для ребенка или чтобы съесть в обеденный перерыв. И таких посетителей гораздо больше даже. Вот для них-то и организуется буфет, и Зоя будет буфетчицей. Она кружилась и веселилась, сообщая все это.

— Ты подумай, какая работа: чистенькая! Прелесть! Я стою в шелковом фартучке! Вся в ароматах! С маникюром!.. Теперь мне обязательно придется сделать маникюр!

— Ты, значит, будешь занята днем и вечером, — сказал Севастьянов, мы никуда не сможем пойти вместе.

«У инвалидов дела обстоят неважно, — подумал он, — они берут ее за красоту, как та балетная группа».

Зоя не дала ему говорить:

— Ты подумай! Ни на трамвае не нужно! Ни пешком! Перебежать двор, и я на работе! Никакая погода не страшна! И ты представляешь, как мне пойдет маникюр! Ты представляешь: ногти — как розовые миндалины!

Что он мог ей предложить вместо этих радостей? Ровным счетом ничего. Разве — и то предположительно — что-то вроде памятной ему работы на картонной фабричке... Зоя кружилась перед ним, раздувая свое светлое новое платье. Он перестал возражать.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с очень толстыми бровями, остановил его во дворе.

— Товарищ Севастьянов, ваша супруга любезно согласилась поработать у нас в кафе. Если вы, может быть, имеете насчет этого какие-нибудь мысли, то я вам вот что скажу я сам отец, имею дочь, и ни я, никто в «Ренеме» не допустит даже тени чего-нибудь! Даже тени, товарищ Севастьянов!

— Она согласилась, — сказал Севастьянов, — значит, она тоже так считает. — Он поспешил уйти, этот разговор его смущал.

А после главного инвалида поймал его Кучерявый.

Он вышел из своей пещеры — темных больших сеней, где смутно виднелись куда-то ведущие двери, — и захромал к Севастьянову, окликакая невнятно:

— Эгей! Эй! А ну!

В белой куртке нараспашку, карандаш за ухом, блокнот в нагрудном кармане. Волосы — матрацные пружины. Белое лицо — ком сырого теста, и на нем маленькие, темные, подвижные, рассеянные, соображающие глаза. В первый раз (и последний) стоял он так близко от Севастьянова.

— Вы что же, — негромко и как-то пренебрежительно спросил Кучерявый и, склонив голову,

устремил свой подвижной взгляд на севастьяновские сандалии, — вы, значит, ничего не имеете против, чтобы Зоя поступила в кафе?

«Это уже безобразие, — подумал Севастьянов, — еще и этот будет вмешиваться? Ему-то что?»

— Почему я должен быть против? — спросил он.

Кучерявый раздумчиво вскинул голову и смотрел ему на лоб с выражением отвлеченного интереса, словно решал в уме задачу, — казалось, сейчас вынет из-за уха карандаш, из кармана блокнот и запишет решение.

— Так ведь с улицы придет кто хочешь, — сказал он все так же пренебрежительно-безразлично.

— Ну придет, — нетерпеливо сказал Севастьянов, соскучась ждать, когда он решит свою задачу, — и что из этого следует?

— Придет и будет ходить, ему не воспретишь.

— Не понимаю.

— Наговорит сорок бочек арестантов, — уронил Кучерявый.

— Не понимаю! — повторил Севастьянов, хотя уже понимал и начинал пылать гневным пламенем.

— И уведет, только ты ее и видел, — вздохнул Кучерявый, от вздоха колыхнулись его бабы покатые плечи.

— Иди ты знаешь куда! — сказал Севастьянов.

— Постой! — негромко вскрикнул Кучерявый вслед. — Эгей! Да ну! Погоди!..

Севастьянов не оглянулся. Он не сказал об этом разговоре Зое. (Первый и последний его разговор с Кучерявым.) Эти пересуды за ее спиной — черт знает что.

Инвалиды сшили Зое шелковый фартучек и наколку. Зоя побывала в парикмахерской и сделала маникюр. С ногтями как розовые миндалины, с белой наколкой на темных волосах, встала она за прилавком в «Реноме», забавляясь так же беззаботно, как забавлялась полгода назад клубной сценой и пачками из марли.

43

Дни и недели, которые за этим следовали, Севастьянов никак не может восстановить подробно и стройно. За далью, за тогдашним смятением, слишком многое сместилось в памяти, одни события распались на куски, на не связанные между собой сцены, лица, голоса, а другие события выросли несоразмерно своему значению...

Когда на страницах «Серпа и молота» стало мелькать имя Марии Петриченко?.. Это была селькорка, писала о работе делегаток женотдела, о рыбацкой артели, еще о чем-то. Заметки были подписаны: хутор Погорелый, Маргаритовского сельсовета.

Севастьянов как-то спросил Кушлю — что за хутор и не знает ли он, Кушля, Марию



Петриченко, поскольку сам он тамошний. Никаких Петриченко Кушля не знал.

— Приезжая, — сказал он, — либо какая-нибудь наша дивчина взяла приезжего в приймаки...

Про хутор же Погорелый выразился, что, невзирая на его такое сиротское название, это есть самое вредное контрреволюционное гнездо на всем земном шаре.

О Петриченко упоминал однажды Дробышев на рабковском собрании хвалил за то, что пишет серьезно и принципиально.

Деревне «Серп и молот» уделял не много места, больше занимался городом. Для деревни предназначалась газета «Советский хлебороб», в которой Дробышев обещал Кушле должность разъездного корреспондента; она должна была выходить с нового хозяйственного года.[1] Петриченко писала часто, но большая часть ее заметок оставалась в серых папках отдела «Сельская жизнь».

В одно утро Севастьянов пришел в редакцию — там все говорили о Петриченко, об ее письме. Оно было получено, оказывается, еще вчера, а эти моржи в «Сельской жизни» вскрыли только сегодня... Севастьянову дали прочесть. Начиналось письмо обыкновенно: «Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Петриченко Мария с хутора Погорелого». А дальше на нескольких листах, вырванных из старой бухгалтерской книги, с голубыми и красными линейками и жирно напечатанными словами «Дебет» и «Кредит», Петриченко в прозе и в стихах прощалась «со всеми уважаемыми сотрудниками», желала им дожидаться полного коммунистического счастья и жаловалась горько, что в молодых годах, имея малых детей, «ничего не успевши повидать на нашем красном свете», должна она расстаться с жизнью и общественной работой через врагов советской власти. В конце — просьба устроить детей после ее смерти «куда хотите, абы не пришлось им на моих же убийц батрачить». Письмо было литературное и в то же время искреннее. Писал человек тщательно, но в расстройстве, в предвидении беды. Некоторые усомнились, говорили: «Нервы, кто-то ее пугнул, она и запсиховала». Но большинство поняло смысл письма правильно: покуда здесь в редакции заметки Петриченко регистрировали, почитывали, похваливали, кое-что печатали, кое-что мариновали, сдавали в набор, пускали в котел, — на хуторе Погорелом, в степных кукурузных, подсолнечных джунглях, у Марии Петриченко с разоблаченными ею врагами дошло до черты, вопрос стал ребром: кто кого.

Акопян, узнав, что письмо пустили по рукам и таскают из комнаты в комнату, забрал его и запер. По его распоряжению из папок срочно выбирали неопубликованные заметки Петриченко и несли к нему, и он их читал. Всегда выдержанный и вежливый, он при всех сказал заведующему «Сельской жизнью», акцентируя от волнения и сверкая черными глазами:

— Чем бы эта история ни кончилась, тебя в редакции не будет, или я не Акопян!

Почему-то после этих слов даже легкодумам, даже сомневающимся стала до конца ясной трагедийная правда письма. В редакции стихло, каждый уткнулся в свою работу. Совсем замерла, невидимой и неслышимой стала «Сельская жизнь» — грубый, толстый, губастый парень с маленьким пенсне на большом красном лице; Коля Игумнов про него говорил, что Харлампиев врет, будто он сын сельского учителя, на самом деле он сын лавочника, Коля Игумнов это чувствует как художник.

Пришел Дробышев, они заперлись с Акопяном и Харлампиевым. Потом вдруг вызвали Севастьянова. Едва он переступил порог, Дробышев спросил:

— Вы работали с Кушлей, вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — ответил Севастьянов.

— Толковый товарищ? Если послать его на этот самый хутор Погорелый сумеет выяснить обстановку?

— Безусловно. Тем более что он оттуда родом.

— Вот-вот, из Маргаритовки, — сказал Дробышев, глянув в лежащий перед ним листок. — У нас впечатление — боевой товарищ, вы как считаете?

— Боевой, — подтвердил Севастьянов.

Харламбиева в кабинете уже не было. Сидел Акопян, Дробышев стоял за своим столом, держа руку на вилке телефонного аппарата.

— Осветить не сможет как следует, — сказал Акопян. — Пишет плохо.

— А вы помогите, напишите хорошо, — возразил Дробышев. — Главное, должен быть человек, чтоб быстро разобрался в отношениях и мобилизовал местные силы. С классовым чутьем должен быть человек, — заключил он и снял трубку с вилки...

— ...Уж везет, так везет! — сказал Кушля Севастьянову. — Дорогой товарищ, я, как тебе известно, ни в бога, ни в черта, ни, понимаешь, в святых угодников... Но что ты скажешь в данном конкретном случае? Скажешь — судьба. Не скажешь, нет? И ведь верно: нам, марксистам, не подобает это говорить. Верно: стечение обстоятельств. А я Ксане сказал по-простецки: судьба! Ехать, сказал, тебе в Маргаритовку, и никаких гвоздей, видишь же — помимо нас с тобой так сложилось, что я имею возможность лично отвезть тебя и устроить. От двоюродного брата Романа до сих пор ответа нет. У нас там по два года чешутся, пока соберутся письмо написать. Ладно. Нехай они чешутся, а мы вот они с Ксаней.

Он был совершенно удовлетворен: его признали, позвали, поручили ему важное дело.

— Конечно, такого материала никто не соберет, как я. Во будет материал! Дробышев спрашивает: как вы думаете, она не преувеличивает, Петриченко?.. Будь уверен, говорю, ничего она не преувеличивает. Я письма ее прочитал — так и вижу эту картину кулацкого засилья и в кооперации, и в сельсовете, через слабость характера двоюродного брата Романа, и на всех, понимаешь, ключевых позициях, у всех истоков, понимаешь, откуда только происходят барыши и власть! Это истинная картина, я все фамилии знаю, что она указывает. И в морды многих сукиных сынов помню. Они так же и мной мечтали пользоваться, как братом Романом. Моей непорочной автобиографией мечтали обгородиться, как проволочным ограждением! Я все там, говорю, уточню и доведу до революционной законности, будь уверен! И он мне протягивает руку и говорит — дадим вам, говорит, если потребуется, вплоть до двух подвалов... Двух подвалов!

— Ты напишешь здорово, — сказал Севастьянов, — я по тому сужу, как ты рассказываешь.

— Я тоже полагаю, что здорово, — сказал Кушля. — А если, возможно, произойдет заминка в литературном отношении, — подлежащие-сказуемые, пособишь оформить, ладно?.. Удостоверение выдали (он показал) и письмо в уком. И, в общем, через два часа отбываем. Для Ксани, конечно, гораздо легче, что так получилось: то бы, понимаешь, сборы, да прощанья, да откладыванья — оба мы измучились бы. А тут — раз-два, недолго думая, сели вместе и поехали, я ее с родней знакомлю, местность показываю, где я родился и рос, все по-хорошему и не так ей, бедной, обидно... Черт, хотел забежать, купить Андрею Андреичу какую-нибудь погремушку... Замотался и не поспел, магазины уже закрыты. Ну, бегу с ним проститься! Будь здоров, всего тебе!

— И тебе! — от души пожелал Севастьянов.

— ...Игумнов поедет с тобой, — сказал Севастьянову Акопян, — сделает зарисовки. Место не ограничиваем. Ехать надо вечером, завтра будете в Т., оттуда лошадьми.

Акопян говорил, глядя в стол, ровным голосом, в правой руке перо, в левой папироса... Севастьянов слушал и не понимал, как он может курить и говорить так спокойно.

В горле у Севастьянова перехватило, и он поскорей достал папиросы, чувствуя, что должен закурить немедленно. Акопян поднял суровые глаза и протянул ему зажженную спичку.

...Телеграмма была получена утром. Дробышев со следователем ГПУ сейчас же выехал на дрезине в Т., приказав Акопяну направить туда Севастьянова и Игумнова ближайшим поездом. Будь Железный в городе, поехал бы он, а не Севастьянов. Но Железный был в отпуску, и печальная эта честь выпала на долю Севастьянова.

День был заполнен звонками, толчеей, разговорами. Приходили из типографии, из районных отделений «Серпа и молота», из редакции «Юного пролетария». Всем сразу стал интересен Кушля, и все спрашивали Севастьянова, потому что он ближе всех был к Кушле. До отъезда Севастьянов должен был сдать хронику, собранную в последние дни, и дописать очерк о макаронной фабрике. Надо было, кроме того, получить командировочные, а в кассе не было ни копейки, кассир ушел в банк, и неизвестно было, с деньгами он вернется или без денег. Севастьянов дописывал очерк, подсчитывал строчки в хронике, чтоб было ровно восемьдесят и ни строчки больше, в очередь с Колей Игумновым бегал в бухгалтерию узнавать, не пришел ли кассир, отвечал на расспросы о Кушле, объяснял месткомовцам, где живет Лиза, чтобы они могли пойти к ней известить. Одно дело кончалось начиналось другое, и хотя отвлечься от события было невозможно, оно еще стояло комом в горле, — но к нему привыкал, его резкая острота проходила, и больше не казалось, что этого не может быть.

Коля Игумнов сказал:

— Жаль, конечно, что такой грустный повод... Но, говоря откровенно, я рад проехать! Куда-то мы с тобой перенесемся, что-то увидим новое... Что может быть лучше? Вам хорошо, репортерам, вы гоняете по городу, а я сижу взаперти и мажу серые фотографии тушью и белилами...

Уже кончался день, когда Севастьянов прибежал к Зое. В кафе «Реноме инвалида» начиналась вечерняя жизнь, почти все столики были заняты. Зоя стояла за прилавком. Севастьянов сказал ей:

— Кушлю убили.

Она вздрогнула и вскрикнула: «Ой!»

— Как, сегодня едешь?! — переспросила она, пораженная, и взялась за лоб, Севастьянов подумал: «Она боится, что меня тоже убьют». — А вернешься когда же?

— Акопян считает, мы пробудем дня три. И дорога...

Они разговаривали, разделенные прилавком. Посетители оглядывались на красавицу буфетчицу, взволнованно шептавшуюся с парнем. Инвалиды улыбались отечески... Севастьянов сказал:

— Но ты меня проводишь!

— Да, — сказала она, — конечно!

И, отпросившись у инвалидов, сняла свой фартук и наколку и ушла с Севастьяновым в их комнатуху. Они укладывали в дорогу его портфель и нежно прощались. Кирпичная стена напротив была как печь, накаленная докрасна, огненный день уходил по кирпичам, выбираясь со двора на крышу. Бухал мяч. Кричали, играя, дети.

Вышли из дому, держась за руки. Темнело, много было людей на улице. Где-то была смерть, а здесь в саду играла музыка. Под музыку шли навстречу мужчины и женщины, и все они смотрели на Зою. Мужчины приковывались к ней долгими взглядами, женщины взглядывали бегло, а потом и те и другие переводили взор на Севастьянова. По-особенному смотрели подростки. Изумленные глаза мальчиков, напряженно-испытующие глаза девочек спрашивали: «Значит, вот как это бывает?» А Зоя улыбалась в ответ. Ее страх прошел, излился в коротеньком вскрике «ой», снова она упоена была своими чарами и успехом... Смерть существовала, отвратительная, несправедливая и жестокая, но она была далеко-далеко, а здесь шла Зоя, играла музыка и у входа в сад продавали розы.

Она сказала:

— Купи мне розочку.

Они остановились, чтобы купить роз. Казалось, вся улица приняла участие в этом происшествии — столько народа следило за ним и с таким сочувствием. Цветочницы наперебой протягивали Севастьянову лучшие розы, лучшие из лучших. И кому же полагались эти розы, если не Зое, кому бы еще они были так к лицу?

Пришли в редакцию. По забросанной бумажками и окурками лестнице спускался Залесский. Даже этот старик, все перевидавший, даже он споткнулся и остолбенел на секунду, когда из-за лестничного поворота появилась перед ним Зоя с розами... В своем кабинете, под зеленой лампой, Акопян читал полосу. Севастьянов зашел за пакетом для Дробышева, он не мог не показать Зою Акопяну.

— Это Зоя, — сказал он неловко.

Акопян поднял голову, его лицо выразило удивление, сердечность и интерес.

— Очень рад, — ответил он. — Акопян.

И, встав, поздоровался.

— Вы очень хорошо влияете на Шуру, — сказал он добродушно. Благодаря вам он достиг небывалой работоспособности, последнее время он трудится за четверых...

С Колей Игумновым они встретились, как было условлено, на вокзале под часами. При виде Зои Коля сказал:

— Боже!

Он держал ее руку, наклонялся и спрашивал:

— Что же это? Почему я этого раньше не видел? Когда я буду это рисовать?

Они пошли искать свой поезд. Коля вел Зою под руку, не переставая наклоняться и говорить. Зоя смеялась. Севастьянов сперва — по инерции гордился, потом почувствовал против Коли возмущение. Коля осмелился поцеловать Зою в локоть, в ее точеный смуглый локоть, над которым узенькая оборка и перехват широкого пышного рукава. Коля не должен был так поступать: она ведь ничем не дала ему права думать, что ей это будет приятно. Особенно же было возмутительно, что, когда Коля наклонялся, его длинные волосы падали Зое чуть ли не на лицо, и он их отмахивал заливчатским жестом — дескать, сам черт ему не брат! Но вдруг в

темноте, на путях, пронзительно и горестно закричал паровоз, другой отозвался вдали так же тревожно и горько, и Севастьянов вспомнил, что сейчас они с Колей поедут туда, где смерть, что смерть чудовищна и непоправима, что навеки закрылись Кушлины ярко-голубые глаза... «С ней забываешь обо всем! — подумал он. — Нельзя быть с ней и думать о смерти, с ней думаешь только о ней... И что для нее значат пустяковые Колины маневры по сравнению с той нежностью и преданностью, какую она знает!» И он шел за ними, не ревнуя больше, мудро снисходительный, очень взрослый по сравнению с ними.

Полазав под составами, они нашли свой поезд. Он стоял у дальней платформы, перед черными строениями, впотьмах. Его открытые окна еле светились, выдыхая на платформу запах мешковины, кислого теста, поездной уборной. Посадка уже прошла, последние пассажиры впихивали в вагоны свои мешки.

— Как, уже расставаться? — спросил Коля. — Это выше моих сил, поехали с нами, мадонна.

А Севастьянов обнял Зою и поцеловал и потом окунул лицо в ее букет, в последний раз вдохнув его чистую свежесть перед тем как войти в набитый людьми и мешками вагон. Зоя подняла руки, розы упали. Обеими руками она обняла Севастьянова за шею, ее поцелуй был бесконечен. Это было жаркой черной ночью, вокзальной, железной, угольной, единственный фонарь не мигая светил на это из-под навеса.

— Ах, так? — сказал Коля. — Значит, никакой надежды? Но почему же мне не сказали сразу? Это жестоко.

44

Много езжено по родной стране, много хожено. Среди бесчисленных человеческих поселений, больших и малых, память хранит и Маргаритовку. Сотня беленых хат, насыпанных на берегу лимана; низенькие фруктовые садики, красные точки вишен на деревьях — последние вишни, их пора кончалась; на плетнях развешаны рыболовные сети, натканы горшки и кувшины...

В полуверсте от слободы находилось бывшее помещичье имение: неогороженный разросшийся сад и в нем большой старый дом. В доме разместились сельсовет, школа, изба-читальня, квартира учителя. Вход в дом был через обширную открытую террасу. Ее доски и столбы от старости стали пепельно-серыми. Под знойным солнцем иссохшее дерево, разомлев, источало слабый запах не то смолы, не то краски, хотя и та и другая давно из него выветрились. Такою же серой, обветшалой была входная дверь: когда ее отворяли или затворяли, с нее осыпался какой-то порошок и дребезжали остатки цветных стекол вверху... Убийца сходил по ступеням как бы задумавшись, глядя на свои сапоги и надвинув картуз на брови. Желтая щетина росла на его щеках; в каменных складках сапог лежала пыль. «Что он должен сейчас чувствовать?» — подумал Севастьянов и отвернулся от угрюмого мрака, представившегося ему... За убийцей шел милиционер. Подвода ждала их, они сели и уехали. Мужики и бабы, стоя поодаль, молча глядели вслед.

Лужайка перед террасой вся поросла травой, называемой у нас калачиками. Местами земля под травой вздувалась: там, верно, были когда-то клумбы. Эту запущенную лужайку со всех сторон обступал густой зеленый сад. В его сплошной стене светло и серебристо обозначалось начало тополевой аллеи. Аллея сужалась как бесконечный коридор, полный света и сверканья; в конце ее бледно голубел лиман. Обильная серебряная листва, не умолкая, не угомоняясь, легко и радостно лепетала под ветерком, вся устремленная ввысь, и каждый лист был как маленькое зеркальце, отражающее солнце. Этой аллеей ходили

купаться. У берега — правду говорил покойный Кушля — было по щиколотку, приходилось идти далеко, чтобы окупаться и поплавать.

...Марию Петриченко Севастьянов увидел в первый раз на собрании. Она стояла и говорила, когда Севастьянов с Игумновым, только что приехавшие, в дорожной пыли, вошли в полную людей комнату. Услышав горячий, убежденный, молодой женский голос, Севастьянов подумал: «Это она!» — было что-то общее между этим голосом и письмами Петриченко в редакцию... Две девочки, крошечные, трех-четырёхлетние, держались за ее подол; мальчик постарше стоял рядом. «Мария Петриченко и ее дети». Возле председателя сидел человек с странно знакомым лицом, ярко-голубыми глазами посмотрел он на вошедших, — Кушлин двоюродный брат Роман.

— И где ж те люди? — спрашивала Петриченко. — Где они тех людей подевали, что имели дух защищать бедняцкий интерес? Того сполчили, того купили. Кушля Роман — от он перед вами сидит как стенка белый, еще бы: с злодеями, душегубами дружбу водил... Кушля Игнат в город подался через ихнюю ненависть.

— Игната выдвинули, — небрежно сказал чисто одетый человек, нестарый и красивый, хотя почти совсем лысый, с оборочкой мягких темных волос на голом черепе. — Выдвинули Игната, зачем зря говорить.

— Меня довели, что я детей без своего присмотра и на одну минуточку покинуть боюсь, — продолжала Петриченко (лысый усмехнулся и снисходительно повел плечом...). — А теперь пускай ответят: кто получил ту ссуду, что на безлошадных была отпущена? Покажите ведомость. Покажите расписки. Всем покажите, а не только друг дружке, — у вас рука руку моет... Еще такой вопрос: как у нас подобрано правление кооперации?

— Товарищ председатель, — яростно закричал кто-то, — другие граждане получают слово или одна Петриченко будет говорить до скончания веков?!

Поднялся шум... Мария озиралась, прижав к себе детей. Она была плечистая, чернобровая. На загорелом до каштанового цвета лице уже прорезались морщинки: резко-белые, они расходились жаркими лучами на висках и скулах; казалось, лучи эти исходят из зеленовато-карих, глубоко посаженных глаз...

Когда Коля Игумнов ее рисовал, она сидела деревянно и озабоченно, положив на колени загорелые сильные руки.

...Она вела Севастьянова и Игумнова на хутор и рассказывала про лысого:

— Больше всех нажился, родичи на него батрачат, и ни договоров, ни соцстраха, и не подступиться к нему. А послушать его — самый сознательный, все новые слова знает... Ох, — сказала Мария, — до того ж хитрая порода, проклятые куркули!

Они шли, разговаривая, и детишки проворно семенили рядом, взбивая пыль маленькими босыми ногами.

Солнце спускалось у них за спиной. По обе стороны неширокой дороги были поля подсолнуха. Подсолнечники стояли обернувшись все в одну сторону: сомкнутые ряды, полки, полчища огромных темных ликов, окруженных желтыми нимбами... Первой с краю была на хуторе хата убийцы, они зашли на нее взглянуть.

Калитка была настезь, и дверь настезь, и хозяйка сидела на крыльце, свесив руки меж колен. На цепи рвалась, бесновалась собака, но женщина слегка только повернула к вошедшим голову, не спросила — чего им надо, не пошла за ними. Севастьянов взошел мимо нее на крыльцо вслед за Марией, вдвоем они прошли по комнатам; Коля войти не захотел.

Комнаты были обставлены как в городе: зеркальный шкаф, хорошие стулья, кровати с блестящими шарами. «В голодуху за пшено да постное масло у городских повыменяли!» — объяснила Мария. Хата была под железом, во дворе крепкие постройки.

А Мариина хата крыта была соломой, и была в ней одна комната — почти пустая — да сени. Во весь двор — огород, наполовину уже оголенный, закиданный увядшей картофельной ботвой. Так и дохнула навстречу жизнь нищая, немилосердная, едва ступили на порог.

Коля Игумнов огляделся и спросил сочувственно:

— Такая молодая, и что же, одна живете, без никого?

— Как без никого? От, дети есть, — строго усмехнулась Мария. — Полная хата народу, как же без никого?

— А муж?..

— Муж? Пришел и ушел, и нет его, — сказала она жестко. — В семнадцатом пришел калекой с фронта, мы поженились. Три пальца у него отрезаны, но работать мог. Хату мы с ним построили. — Подняв голову, она оглядела беленый низкий потолок, и глаза ее налились слезами. — В долг вошли, отработывали... а потом надоела ему эта бедность, он и уехал ничего о нем не знаю. Нюська — последняя — без него уж родилась.

Она вытерла глаза воротничком кофточки и закончила неожиданно нежным, воркующим голосом:

— Очень от бедности мучился. Он сильно грамотный был, ему совсем другая требовалась жизнь. Он, например, таракана видеть не мог.

— Как будто другая жизнь сама собой построится, — заметил Севастьянов.

— От именно! — горячо подхватила Мария, и слез ее как не бывало. — И я ему говорила: если не сами мы, то кто же, правда? Не бог, не царь и не герой, правда?.. Но, конечно, трудно одной.

— У вас еще все впереди! — сказал Коля.

— Так видите, — сказала Мария, — жениться на мне никто не женится, с таким-то приданым? — Она кивнула на детей. — А другое что-нибудь я не могу себе позволить. Я если себе позволю, так будет крик и лай на всю Маргаритовку и с хуторами. Другой — простят, а мне не простят от столько. И про меня будет лай, и про бедняцкий наш класс, и про всю советскую власть, — сказала она гордо. Ясно было, что в ее сознании советская власть, бедняцкий класс и она сама, Мария Петриченко, — неразделимое целое, и этим диктуются все ее поступки.

Она кормила детей, укладывала их и рассказывала, как хитростями, взятками, угрозами зажиточные пытаются все прибрать к рукам, а она против этого борется. Они и ее хотели подкупить, кашемиру на платье набрали, как же; так она и взяла ихний кашемир! Детям сдобные коржики пхали: она запретила детям у них брать! — Некрашенный стол был в хате, лавка, две табуретки; между печью и стеной настланы нары для спанья. Кормила детей Мария деревянной ложкой, из чугунка с отбитым краем. Неровно оструганные, побеленные мелом столбы — дерево просвечивало сквозь мел — подпирали потолок. Сухо пахло глиной от земляного мазаного пола.

— Я знаю одно, — сказала Мария, — или им на свете быть, или мне с моими детьми на свете быть. Я с ними никогда не помирюсь!

Стало темно. Младшие дети спали. Старший мальчик, лет шести, вылез к краю нар, лежал на животе среди тряпья, — подперев кулачками щеки, слушал, как разговаривают взрослые. Мария зажгла лампу и сказала:

— Я вам мои стихи почитаю.

Легко вскочив на нары, достала с лежанки аккуратно сложенные листы (вырванные из бухгалтерской книги, с печатными словами «Дебет» и «Кредит») и развернула под лампой.

— От послушайте, — сказала она доверчиво.

Она читала, сжимая руки, вздыхая глубокими вздохами. Маленькая лампа дымно светила сквозь закопченное стекло. Лицо Марии в этом свете было коричневым, белыми черточками выделялись морщинки на висках, угольной чернотой — брови и ресницы. Другого конца комнаты свет лампы едва достигал. Оттуда блестели внимательные, разумные глаза слушающего мальчика.

Стихи, которые читала Мария, были отчасти знакомы Севастьянову. От сильно грамотного мужа ли, бросившего ее с детьми на эту нужду и борьбу, или из книг и песен, но она нахваталась стихов и, беря чужие строчки, приписывала к ним свои; и от чистого сердца, радуясь и любясь, признавала то, что получалось, за собственное свое сочинение. Севастьянов и Коля ее не разубеждали... «Тучки небесные, вечные странники», — читала она с чувством:

Огненной молнией,

Громом грохочете.

Что же вы ищете?

Что же вы хотите?..

Когда Севастьянов с Игумновым уходили, ночь уже совсем накрыла степь и хутор. Лаяли собаки на ближних и на дальних дворах.

— Изю дня в день, — сказал Коля, оглянувшись, — представляешь, изю дня в день она так живет.

Севастьянов тоже оглянулся — за черным переплетом дырявого тына дымно-коричнево краснелось Мариино окошко. Тьма кругом шуршала, беспокоилась... «Вот так шуршало вокруг ее дома, — подумал Севастьянов, когда она сидела и писала то письмо, прощаясь с нами и поручая нам детей. И так же краснелось ее окно, и уже был заряжен обрез той пулей, которую готовили ей, а всадили в Кушлю...» Они молча шли мягкой пыльной дорогой, и шорох и мрак сопутствовал им до самой Маргаритовки.

Позже поднимается белая спокойная луна. Она стоит за крышей сельсоветского дома, ее не видно, но от нее светло на небе и на земле, и тень дома ложится на лужайку, заросшую



калачиками.

На расшатанных ступеньках террасы сидят люди, курят: хлебоборобы и рыбаки, их одежда пахнет рыбой, — и среди них школьный учитель, щуплый человечек с коротко остриженной седой головой, в тени она белеет, как громадный пушистый одуванчик. Тревога, раздражение вечных неудач в голосе и движениях учителя. Тонкий лягушечий рот в разговоре брызжет слюной и сжимается трагически. Учитель спорит с Дробышевым, который ходит перед крыльцом, иногда останавливаясь (Дробышев и в редакции редко сидит ходит, разговаривая, по кабинету или стоит у стола, опершись на стул коленом).

— Вы здесь три дня, — говорит учитель, — а я четыре года, кому из нас видней?

— Вы за четыре года ничего не увидели! — отвечает Дробышев своей начальственной скороговоркой. — За четыре года вы ничего не поняли!

Дробышев — деловитый, с быстрым взглядом, с повелительной посадкой головы. И речь у него быстрая и повелительная. В деревне, в командировке, он несравненно доступней, чем в редакции, где к нему нельзя войти, не спросив разрешения, где он вечно спешит и где только покойный Кушля обращался с ним запросто, чуть ли не похлопывал его по плечу.

— Вы мне не докажете, — строптиво твердит учитель, — что это политическое убийство. Старая семейная ссора. Еще до революции чего-то не поделили.

«Неужели не понимает, — думает Севастьянов, — не может быть, чтоб не понимал, он же дядька образованный; притворяется из упрямства».

— Выпили, — небрежно замечает чисто одетый человек с темной оборочкой волос вокруг лысины, тот, о котором рассказывала Петриченко, что на него батрачат родичи, — выпили, поспорили, ну и — под горячую руку, спяна...

— Андрей выпивши не был! — сурово поправляет кто-то из тени. Вскрытие показало — не был он выпивши!

— Спорили-то о чем, — говорит Дробышев, — спор шел, как выяснилось, о советской власти.

— Человек убил человека, — возбужденно говорит учитель. — Со времен Авеля и Каина человек убивает человека и придумывает разные причины убийства. — Он встает, уходит по лунной лужайке, маленький тщедушный упрямец из тех закоренелых упрямцев, что готовы лучше умереть, чем отказаться от своего заблуждения и признать истину; голова его уплывает в ясную ночь, как светящийся шар. А на ступенях террасы продолжается беседа, и текут дымы самосада, то жгуче-едкие, то медовые.

(Это ночь перед похоронами Кушли, Кушля еще не погребен, лежит в сарае, принадлежащем сельпо.)

Зовут ужинать: уборщица наварила картошки, нажарила сала... Потом приезжие (их порядочно) укладываются спать в комнате верхнего этажа. На полу постлано сено, на сене — рядна и подушки. Подушка в синей ситцевой наволочке пахнет кислым молоком... Начальственность, повелительность сходит с Дробышева, когда он разувается, сидя на полу. Тогда можно вообразить его на войне, в лагере военнопленных (он побывал в германском плену), в любом состоянии, а не только ответственным работником, поучающим, как строить газету и что думать по тому и по другому поводу.

Разуваясь, он расспрашивает председателя укома об уездных делах, и тот отвечает, тоже сидя на полу и разматывая свои портянки. Разговор все отрывочней: устали. Засыпают. На темных подушках белеют лица.

В недрах бывшего помещичьего дома то тут, то там слышатся глухие постукивания, поскрипыванья, шаги. Это, должно быть, уборщица моет пол, передвигает столы и скамьи. А это, должно быть, старый учитель бродит, как домовый. Непостижимо, думает Севастьянов, что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отталкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет, — легче ему, что ли, доживать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, думает Севастьянов, покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые... В распахнутые окна на засыпающих людей заглядывает луна, закатываясь за темную гущу сада.

46

В сарае слева были навалены бочки и ящики, а справа из пустоты тянуло холодом — от ледника, широкой ямы, где под слоем соломы хранили лед.

Снаружи пылал полдень, тут были сумерки.

Пахло сырой землей, рогожами.

Севастьянов постоял у края ямы, простился мысленно с Кушлей... С кем он прощался? В загробную жизнь он не верил. Лежавший в ледяной яме не мог его услышать.

Но в памяти Севастьянова Кушля жил, вот он выпустил изо рта ленточку дыма, посмотрел весело и задумчиво, сказал: «Замечательная вещь, дорогой товарищ, не поверишь: ноготки моего фасона!» — с этим живым Кушлей простился Севастьянов.

И вдруг почувствовал, что он не один тут: кто-то вздохнул у него за спиной. Оглянулся, — неплотно притворенная дверь была как огненная щель; в сумраке возле бочек стояла, понурившись, серая фигура: Ксаня. Он к ней шагнул — подняла руки, закрыла лицо, застонала сквозь стиснутые пальцы длинными глухими стонами...

47

После похорон Коля пошел бродить по кладбищу, и Севастьянов, от печали и неприкаянности, бродил за ним.

Они плутали между крестами и холмиками, холмиками и крестами. Надписей на крестах не было. Безымянно, безвестно спали здесь поколения.

В сторону лимана все реже становились кресты и бесформенней холмики, местами земля только чуть-чуть вздувалась там, где когда-то были погребены люди.

Трава в этой части кладбища была некошенная, лютая, грубая, как кустарник. Одни растения рассыпали семена, а другие такие же рядом цвели, и множество мелких бабочек, лазоревых и красных, вспархивало с цветов.

Коля обрадованно позвал Севастьянова: он наткнулся на старую каменную плиту. Она лежала криво, уйдя боком в землю; травы переплелись над нею. Коля стал гнуть и ломать траву, расчистил камень и прочел надпись. Они нашли вторую плиту, и третью, и целую

колонию осевших в землю, разбитых на куски старинных надгробий.

Нетрудно было угадать, что это могилы помещиков, которым в прежние времена принадлежала Маргаритовка. Севастьянов не слышал, чтобы существовало мужское имя Маргарит; и Коля тоже. Но тут лежали: Маргарит Феодорович и Феодор Маргаритович, и Григорий, Венедикт, и Варфоломеи Маргаритовичи, и Маргарит Григорьевич. На одной плите были вырезаны звезды, круглоликое солнце и месяц в профиль, и стих:

Здѣсь землей покрыта

Лицемъ душею Маргарита.

Такая ей цѣна

Отъ общества дана.

Маргарита Варфоломѣева дочь Блазова.

1758–1775

Присели покурить. Коля высказал предположение, что, может быть, Маргарит — греческое имя; может быть, эти помещики были греки по происхождению. Он интересно рассказал о греческих поселениях на Черноморье и о том, как князь Владимир ходил на Корсунь. Потом Коля открыл свою папку и стал рисовать, а Севастьянов прилег в траве. Сквозь зонтики соцветий видно было, как мельтешат, танцуют маленькие яркие бабочки... Севастьянов проснулся, — неподалеку между могилами Маргаритов сладко спал Коля, его разгоревшееся лицо было в бусинках пота, крохотный паучок на паутинке осторожно спускался с цветка ему на бровь. Севастьянов разбудил Колю, они отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться. В слободе бесчисленные Кушлины родичи справляли поминки...

(Отдельно от всех гуляли старухи, сидя в холодке под вишнями вокруг вбитого в землю стола. Они скинули кофты и сидели в рубашках и юбках, та простоволосая, та в платке, лихо повязанном концами назад; на шее у них, на шнурках и цепочках, болтались крестики. Под сквозной, золотой, лениво шевелящейся тенью сидели старухи, пили и закусывали.)

...Ночью Севастьянов и Коля на рыбацком баркасе плыли в Т. Подувал ветер, белые гребешки бежали по лиману, луна ныряла в быстрых облаках. Скрылся из виду берег, — тогда не думалось: я был там, буду ли еще? Я ходил там, мой голос раздавался там, мой товарищ похоронен там, — вернусь ли туда?.. Не думалось: сколько еще уголков мира покажется мне и скроется?..

Думалось другое. Ты чувствуешь или нет — я к тебе приближаюсь, кончается наша разлука; если поспею к утреннему поезду — столько-то осталось часов до встречи. — Бесшумно проходили босиком рыбаки. Поскрипывала мачта. — Возвращаюсь к тебе и буду возвращаться несчетно раз. Несчетно, как эти бегущие гребни... Опять с волнением и удивлением, будто о чуде и тайне, вспоминал, как долго она для него почти ничего не значила, хоть он и знал ее; словно бы у входа стояла она, и вдруг вошла и все заслонила. Ты счастье без края, думал он; как эти вечные волны, думал он...

...Вот и осень, дождь льет и льет. По черным стеклам окон бегут, блестя, кривые струйки и струится отражение зеленой лампы. Севастьянов задержался в редакции. Старик Залесский рассказывает о своих путешествиях, достает из портфеля снимки. Пространная жизнь, прожитая в передвижении, есть что поглядеть и послушать. Залесский с его пенсне и пышными усами является Севастьянову в диких степях, на снежных склонах гор, у пенных водопадов. На одном снимке он двадцатипятилетний, на следующем пятидесятилетний, еще на следующем — совсем юный, это чередуется много раз; словно свойство такое у Залесского — состарившись, вновь молодеть; словно и теперешняя его седина и шумная одышка — явления временные, и в один прекрасный день, скинув груз годов и немощей, он снова будет стоять у водопада, в фейерверочном ореоле брызг, — молодой, подтянутый, стройный, ухарски отставив руку с альпенштоком...

Говорит Залесский много, но делает передышку через три-четыре слова. Его толстовка, похожая на распашонку, расстегнута. Видно облачко волос на груди. Дымчатое облачко на белой нежной коже, напоминание о былом мужестве. Свисает тесемка пенсне; и в пенсне отражается зеленая лампа. Пришла жена Залесского, прозрачно-белолицая, в тонких морщинах, важная; села поодаль. Днем она приносит Залесскому завтрак в корзиночке с круглой крышкой, по вечерам заходит, чтобы отвести Залесского домой, — что-то у него с сердцем, она боится пускать его одного по улице.

— А ее, — говорит Залесский, — я нашел в России. В Обояни. Городишко Обоянь... Дел у меня там не было, случайно забрел, захотелось посмотреть: что за город с таким привораживающим названием. Забрел и нашел ее... Я всегда вверялся моим желаниям. Желать — хорошо. Желание есть жизнь. У вас много желаний?

— Порядочно.

— Чего вы хотите?

— В отношении чего?

— В отношении себя лично.

— В отношении себя лично, — говорит Севастьянов, — очень нужно получить образование.

Он только что поступил на рабфак и учился старательно.

— Надоело ничего не знать.

— Еще.

— Хочу съездить посмотреть Москву Кавказ хочу посмотреть. Хочу везде побывать, как вы.

— Еще.

— Хочу... Хотел бы написать одну вещь.

— Какую?

— Так, одну вещь.

— Не для газеты?

— Нет. В газету не вмещается.

— Отлично! — уважительно говорит Залесский. — Отлично, что вы уже не вмещаетесь в газету. Большая вещь?

Севастьянов задумывается.

— Не знаю!

Невозможно ответить на этот вопрос, когда первые строчки едва написаны и все только клубится в воображении, как дым.

Залесский говорит о любви.

— Я много любил... — бросает он сквозь одышку, — и меня любили. Я остывал, и ко мне остывали. Меня покидали — еще как: рвал и метал, стрелялся, и это было. И все было великолепно. Оглядываюсь — перебираю эти дни, восходы, закаты. Цветут сады; и вообще происходит бог знает что, бог знает что...

«Дни, восходы, закаты», — повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются чередой — его восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором... Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь, верно, в свои, ей одной видимые цветущие сады.

— Ничего, кроме благодарности! — говорит Залесский. — За эти взрывы, за то, что пережил их сполна! За то, что ждал на жаре и на морозе, за то, что плакал, за то, что стрелялся, и за то, что промахнулся! Той, которую проклинал самым театральным образом... которую считал преступницей, предательницей... палачом своим считал, — теперь говорю ей: «Ты в поля отошла без возврата, да святится имя Твое!»

Это слишком. Стариковский идеалистический лепет. Залесский забыл, как это происходит.

...Они разошлись на углу. Одной рукой Залесский опирается на палку не альпеншток, обыкновенная стариковская палка; в другой руке портфель с фотографиями. Жена держит раскрытый зонтик. «А что он сделал для людей? Что у него в итоге? Собрание собственных фотокарточек? Жена? Кот?» (Дома у них сибирский кот, он им за сына, и за дочку, и за внуков...)

Севастьянов идет под дождем по улице. Еще не очень поздно, свет во многих окнах. Окна подвалов и полуподвалов — у ног Севастьянова. Видно, как люди ужинают, двигают, разговаривая, губами, смеются, сердятся. Дряхлый старик набивает папиросы при помощи машинки, и с усилием движутся, просыпая табак, его трясущиеся худые руки, — женщина плачет, мужчина ее утешает, — мужчина колет кухонным ножом лучину, — женщина примеряет перед зеркалом платье с одним рукавом, — крошечную девочку укладывают спать, а девочка не хочет, прыгает и веселится в кроватке с высокой сеткой. Бесчисленность существований! Сколько всякой всячины на свете!.. Дождь барабанит по кожаному шлему, как по крыше. Холодно, и рядом шагает неприязненный, нахохленный, с прилипшим к виску мокрым чубом Спирька Савчук.

— И ничего не знаешь?

— Нет, — отвечает Севастьянов.

Изменился Савчук; меньше чем за год повзрослел — не узнать. Бросил свое бузотерство; образец дисциплины и выдержанности, не хуже Яковенко, с которым он дружит по-прежнему. С комсомольской работы его перевели на партийную, на заводе о нем говорят: вот как у нас

растут молодые коммунисты.

И раньше он не был склонен к зубоскальству, у него всегда был возвышенный настрой мыслей, он и бузил-то, собственно, от исступленной требовательности ко всем и ко всему; теперь же вовсе стал мрачен. Маленький рот сжат железно. Круглые глаза светло и неумолимо смотрят из-под чуба. Расскажут смешное, ребята покатаются со смеху — у Савчука только мускул дрогнет на желтой щеке да веки отяжелеют от презрения к этому бессмысленному веселью. Он носит Зою в крови как малярию, как хинную горечь во рту.

— Так-таки ничего не слышно: где, что?

— Нет.

Не любит Савчук Севастьянова. Терпеть не может — но даже впотьмах, сквозь дождь, узнал, окликнул, догнал. В его голосе нотка хмуро-торжествующего превосходства. «Ты ее разве так любил, как я, — будто хочет сказать и не говорит Спирька, — ты ее не уберег; я бы уберег!..» В длинный-длинный вечер, косо заштрихованный дождем, слилась в воспоминании та осень. В вереницы луж, покрытых рябью, у подножья фонарей... Пропал в косых струях Савчук — идет с Севастьяновым, насунув кепчонку на нос, Семка Городницкий. Медлительно бубнит глухим басом, чихает, кашляет. Отроду сутулый и узкоплечий до жалости — нет-нет, спохватясь, возьмет и выпрямится, и выпятит грудь, чтобы казаться бравым здоровяком, бедный Семка. И через два слова на третьем Севастьянов слышит имя Марианны.

— Она получает марксистскую закалку под моим просвещенным руководством. Прочла «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Начали «Капитал». Она читает вслух, а я даю квалифицированные комментарии.

— Опять кашляешь, Семка, простудился?

— Слегка. Пустяки. После санатория все обстоит блистательно. Беда Марианны в том, что ею никто не занимался как следует. Профессорская дочка, с гувернантками росла, откуда быть широте кругозора? Сплошная мещанская кисейность. Илье некогда ее воспитывать...

И вдруг говорит:

— Такой вопрос, Шурка. Если бы мне вздумалось восстановить статус-кво...

— Что?

— Если бы мои книги и я перекочевали обратно — что бы ты сказал?

— Ничего, конечно.

— Не очень возражал бы?

— Что мне возражать? Мы так и думали, что ты не уживешься. Чересчур там роскошно, не по тебе.

— Дело не в роскоши. Этот вопрос я проанализировал еще раз — без вульгаризации, абстрагировавшись от личных антипатий, и пришел к выводу, что это, во-первых, не роскошь, а элементарный комфорт, на который имеют право все трудящиеся, а во-вторых, в свете наших колоссальных задач не все ли равно, согласишься, на какой кровати спать и на каком стуле сидеть, не в том суть.

Ни вода, ни холод, никакие стихии не заставят Семку говорить порезвей и округлять фразы менее тщательно, когда он впадает в лекторский тон.

— Илья валялся в тюрьме на голых нарах, а теперь у него пружинный матрац, и ни то ни другое для него не предмет эмоций, он живет другими проблемами. Разумеется, если товарищ разложился и за барахло готов, что называется, продать душу дьяволу, — но в данном случае это не имеет места. Если я восстановлю статус-кво, это произойдет по другим принципиальным причинам. Должен тебе сказать — Илья, при всем своем уме, недооценивает пионерское движение.

— Из-за этого уйдешь? Стоит ли? Ты уйдешь, а он вдруг передумает и дооценит.

— Не будем шутить. Я несколько устал от шуток на эту тему. Создается впечатление, что Илья Городницкий в нашем возрасте уже имел выдающиеся заслуги, а я учу детей бить в барабан и петь «Картошку». Невероятно, но факт, — он недооценивает и значение антирелигиозной пропаганды.

— Да что ты говоришь, — сочувственно замечает Севастьянов. Дело ясное — Илья, легкий человек, любящий улыбку, разок-другой неосторожно пошутил над Семкиными занятиями, и Семка полез в бутылку, ему невыносимы эти шуточки в присутствии Марианны, он желает быть в ее глазах деятелем, несущим груз ответственнейших забот.

— Это, наверно, мнительность твоя. С чего бы ему плохо относиться к антирелигиозной пропаганде? Но раз контакт не получился — смывайся, и все.

— Смоюсь, если станет невтерпех, — глухо отвечает Семка, и они трясут друг другу озябшие руки.

— Пока.

— Пока.

«Скрутило Семку, он и делает из мухи слона, — думает Севастьянов, шагая дальше по лужам, — Илье надо бы отнестись более тактично и не шутить над ним, когда такое дело».

Севастьянов дома. Снимает и развешивает мокрую амуницию. На столе тетрадки. Севастьянов открывает тетрадь в клеточку, садится решать уравнения. Совсем с азов начал, уравнения с одним неизвестным для него открытие.

Решил, а ложиться не хочет. Он вообще мало стал спать.

Сперва потому не спал, что подкатывало к горлу, не продохнуть было от ерунды этой, которую она натворила. Лежал и разговаривал с ней: «Несчастливая моя дура. Набитая моя дура. Что это ты сделала, зачем ты так сделала!»

Тогда комнатуха еще полна была ею, ее движением, мельканием ее рук. Сейчас выветрилось. Комната как комната. Ничего никогда в ней не происходило особенного. Жили-были вдвоем с Семкой, теперь Севастьянов живет один, может быть — опять будет жить с Семкой. Не спит он оттого, что пытается записать на бумагу лица и картины, которые привязались и не отвязываются.

Люди — много, разные. Говорят всякий свое.

Звенят трамваи. Кричит паровоз. Хлопают паруса и флаги.

Люди и вещи кружат вокруг солнца и требуют, чтобы о них рассказали.

Он пишет медленно, нащупывая связи, фразы, имена.

Расставляя все по местам и переставляя. Каждый раз оказывается — не так.

Пробует описать женщину, как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол.

Еще недавно сочинялось так лихо, на ходу.

Он не верит Залесскому, что тот стрелялся. Если и стрелялся, то несерьезно: недаром промахнулся. Севастьянов ни разу не хотел умереть; как ни подступало к горлу — умереть он не хотел. Даже когда думал: «Лучше смерть!» — он лгал самому себе, он хотел жить.

49

Тогда, на паруснике, они с Колей опоздали к утреннему поезду, только вечером уехали из Т. Севастьянов вернулся домой ранним утром. Первым трамваем ехал с вокзала.

Зои не было. Кровать была застелена по-дневному.

На столе, белея, лежало письмо.

Он разорвал конверт, прочел. Подумал: что за номера.

Подоконник был пуст. Она свои вещички держала на подоконнике: зеркало, гребенку, одеколон, коробочку со всякой дребеденью — все исчезло. В жестянке от какао стояли засохшие розы, свесив некрасивые сморщенные головки; Севастьянов не сразу догадался, что это те самые розы. Платьев не было на стене, одна деревянная распялка для платья.

Уехала. Куда?.. Разъяснится, приказал он себе подумать, шутит. Понадобилось ей куда-то съездить, приказал он себе подумать, вернется.

Не все она взяла: вот же ее серый платок. Старые туфли брошены возле кровати. Ворох чулок на стуле.

Но кроме старых туфель, старого платка и нештопанных чулок он ничего не обнаружил.

Письмо...

Уже он знал эти строчки наизусть, уже правда пронзила его своим холодом и уродством, а он продолжал изучать письмо, цепляясь за слова, которые укрепили бы его в вере и опровергли правду.

«Я тебя очень люблю». И куда же тебя понесло, если ты меня любишь?

«Не ищи меня», — это из фильма, там она уходила от него и так же писала: «Не ищи меня».

«Умоляю, не ищи». «Умоляю» подчеркнуто.

В кухне уже возились. Шумела вода, пущенная из крана. Примус шумел.

Солнце вошло в комнату и светило на пустую кровать, прибранную по-дневному. Он вспомнил, что надо идти в редакцию писать полосу, к вечеру полоса должна быть у Акопяна.

Сумрачный сарай с огненной щелью увиделся ему, ледник, укрытый соломой, щетинистая морда убийцы. «У нас сражение, мы хороним товарищей, а она!..» Он больше не желал отворачиваться от правды, дело яснее ясного, недаром эти ничтожные, трусливые слова — «умоляю, не ищи». В кафе с кем-нибудь познакомилась или решила выйти за того фруктовщика мерзость, — с нее станется, с нее все станется, он ехал хоронить товарища, а



она позволяла целовать себя Игумнову, которого видела первый раз! Искать?! Будь покойна. Если ты из-за угла... Если ты ничего, ровным счетом ничего не поняла — что у нас с тобой было и что ты разрушаешь!..

Он взял с гвоздя полотенце и вышел в кухню.

— Здравствуйте! — грозно сказал он ведьмам.

— Здравствуйте, — пискнули они испуганно.

И не проронили слова, пока он умывался, стояли смиренно у своих примусов, и спины у них были удрученные...

Два инвалида в белых курточках смотрели со своего порога, как Севастьянов спускается по железной лестнице. Третий выбежал из кладовой, что-то сказал тем двум и убежал обратно, озираясь на Севастьянова.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с грустно-недоуменными складками над поднятыми толстыми бровями, решительно захромал Севастьянову навстречу.

— С приездом, товарищ Севастьянов. Очень спешите?

— Есть дело?

— Да. Есть дело. К сожалению. К очень, очень большому нашему сожалению. Будьте любезны зайти к нам. Пойдемте в кладовую, там никто не помешает.

Он был солидно деловит и в то же время всячески старался выразить сочувствие, даже придерживал Севастьянова под руку, когда тот переступал порог кучерявинской пещеры.

— Сюда попрошу.

Из темной пещеры — сеней — вошли в комнату с беленой печкой, с канцелярским столом и парой стульев. Счеты, бумаги, наколотые на железный прут, на плите кастрюля, на табуретке ведро воды и кружка — не то кухня, не то контора.

— Присядьте, будьте любезны.

Главный инвалид истекал сочувствием, он уже обеими руками держал Севастьянова, пока тот опускался на стул.

— Я слушаю, — сказал Севастьянов.

— Товарищ Севастьянов, мы бы вас не беспокоили, мы понимаем, что посторонние люди меньше всего должны путаться под ногами. Вы поверите без лишних слов, скажу одно: мы вам желаем от души не чересчур расстраиваться. Может быть, вы знаете, и совсем не стоит расстраиваться. Даже, может быть, впоследствии скажете спасибо, что это случилось, я бы сказал, своевременно. Пока у вас не зашло в смысле семьи чересчур далеко. Насколько это лучше во всех отношениях. Во всех отношениях.

Севастьянов ждал, глядя в кофейно-коричневые грустные глаза под толстыми поднятыми бровями. Главный инвалид к нему больше не прикасался, но у Севастьянова точное было ощущение, будто его ведут за руку, ведут, ласково уговаривая, к новой неизвестной беде.

— Да, товарищ Севастьянов. Мы вас очень уважаем, вас и товарища Городницкого. Если бы мы вас не уважали, мы с вами не имели бы этого разговора, а дело сразу перекинулось бы куда надо и шло себе как полагается. Но, уважая вас, мы, члены правления, поговорили —

вам же это будет такая громадная неприятность...

Кто-то приоткрыл дверь, главный инвалид махнул — дверь захлопнулась.

— Наше предприятие у вас как на ладони. Вы знаете или нет — с этого маленького «Реноме» кормится рота людей, и при каждом семья. И если бы мы настоящую имели клиентуру, как «Эльбрус» или «Чашка кофе», а то из-за нашего невыигрышного местоположения... Конечно, можно сказать: а! бог с ними, с деньгами, что такое деньги, чтобы из-за них ущемлять молодую судьбу! Но мы люди подотчетные, мы не в состоянии...

Инвалид отвел глаза, пожимал плечами, тон у него был виноватый:

— Сумма не такая большая, хотя и не такая маленькая. Последнее время у нас дела шли получше...

— Сколько? — спросил Севастьянов. И, услышав цифру: — Господи! — сказал невольно от горького недоумения. — Из-за этого?..

— Нет, не из-за этого, конечно, — сказал инвалид, — это прихвачено попутно, между прочим, как карманная мелочь. Это, вы понимаете, не та сумма, из-за которой...

Севастьянов перебил:

— Если я заплачу, вы не станете возбуждать дело, так я понял?

— Против нее — безусловно. Зачем нам тогда против нее возбуждать? И я вам советую, как искренний друг...

— Рассрочку дадите? — спросил Севастьянов, обдумывая. Он был много должен в кассу взаимопомощи.

— Какой может быть разговор! Что, мы вас не знаем?

— На два месяца.

— На полгода! — преданно воскликнул инвалид. — На год!

— На два месяца, — повторил Севастьянов.

Теперь он мог идти в редакцию. Полосу о Маргаритовке необходимо было сдать к вечеру. «Коля Игумнов уже на месте, и Акопян пришел и смотрит на часы, они меня ждут, надо отобрать рисунки, а то не успеют клише». И надо было убежать поскорей от этого тягостного сочувствия.

Но он не убегал, сидел в странной комнате, которая и кухня и контора, рассматривал ее и задавал себе странные вопросы. То, что он здесь услышал, и то, что кого-то он здесь не видел, кто должен бы тут находиться, влекло за собой эти вопросы, притягивало воспоминания и сопоставления, и в круг сопоставлений включалась комната с белой печкой, бухгалтерскими счетами и ведерком из оцинкованного железа. Однажды было: он днем забежал домой; вошел во двор, а Зоя выходила из пещеры Кучерявого. До мельчайших подробностей он вспомнил, как, положив руку на ошейник собаки, она преступила низкий порог, зажмурилась от солнца и улыбнулась ему, идущему по двору. Теперь он воображал, как она входит в эту комнату. Положив руку на ошейник собаки, входит она и улыбается находящемуся в комнате. Севастьянов все видел до того наглядно, что в комнате стало тесно: Зоя, улыбаясь, стояла между столом и дверью, и рядом с Зоей — длинное, сильное, холеное, весело дышащее животное.

— Где ваш кладовщик, — спросил Севастьянов у инвалида, — и где его собака? — Он не думал, в каких выражениях спросить: спросил, как спросилось.

Есть у человека спасительные навыки, множество превосходных механических навыков, они, оказалось, здорово помогают в таких случаях. С тебя кожу сдирают с кровью, а ты достаешь папиросу, постукиваешь мундштуком о коробку, дуешь в мундштук, чиркаешь спичкой, — поступки совершенно механические и пустяковые, а все же поступки, действия, и от них вроде легче... Пока инвалид шептал, подняв добрые брови, Севастьянов предложил ему папиросу и сам закурил. Прodelывая это, принимал последние удары, которые ей заблагодарассудилось обрушить на него.

— Вы понимаете, что Кучерявого мы ищем через угро.

— Но она не пострадает.

— Нет, нет. Она бы не особенно пострадала, товарищ Севастьянов, и в том случае, если бы мы на нее заявили: за ней небольшая сумма, и очень легко отвести обвинение. Она бы пострадала морально, в глазах своих товарищей. Но зачем это нужно, говорили мы, члены правления. Зачем наказывать молоденькую девочку за первую глупейшую ошибку, говорили мы...

Севастьянов ушел. Он пришел в редакцию. Как он и полагал, Акопян и Игумнов ждали и уже беспокоились, что его нет. Оба они сидели у Акопяна за столом, забросанным Колиными рисунками, и пристально смотрели на приближающегося Севастьянова.

— Что с тобой? — спросил Акопян. — Нездоров?

— Нет, почему, здоров, — ответил Севастьянов.

— На тебе лица нет. Замотался, что ли?

— Замотался, наверно, — сказал Севастьянов.

Под предлогом, что все ему мешает, он затворился в архиве и провел этот горячечный день в одиночестве среди пожелтевших газетных сшивов. Писал, бросал писать, ложился лицом на стол, шепча: «Что ты делаешь!» Принуждал себя снова браться за работу и снова кусал себе руки от душевной боли, омерзенья, бессилия, безобразной бессмыслицы свершившегося... Что ты делаешь, что ты делаешь!

Позднее, в зрелом возрасте, он никогда не проявлял своих чувств таким детским и отчаянным образом. Но тогда ему было всего девятнадцать лет, он еще пел песни собственного сочинения!

50

Он не собственник. Разлюби она — тут уж ничего не поделаешь.

Но не разлюбила же! «Я тебя люблю», написано ее рукой, — это правда! Что правда, то правда! Ее любовь была откровенная, ликующая. Так лгать нельзя.

Кто умеет так лгать, тот не человек.

Если такой свет удивительный вспыхнул от того, что двое вверились друг другу и соединили

свои существования, — как можно было погасить свет, взять и все уничтожить в минуту!

Как она его поцеловала на вокзале...

Или можно лгать и так?

51

Во сне забывал; открывались глаза — наизусть знакомое расположение дыр в штукатурке, скрип кровати, грохот чьих-то шагов по железной лестнице равнодушно напоминали, что произошло. Каждое утро напоминали заново. Каждый раз — как по живому мясу...

Хуже всего были утренние открытия заново.

Он схватывался и мчался, будто на поезд опаздывал. Мчался в редакцию.

«Дорогая и уважаемая редакция», как писали рабселькоры в письмах, дорогая и уважаемая редакция, твердыня, крепость, самые стены твои помогали.

Гул печатной машины был слышен издали. Важная уверенность была в этих однообразно-плавных раскатах: «Что касается нас, мы заняты своим делом. Оттого, что тебе изменили, здесь не изменилось ровно ничего!»

Осенними мглистыми утрами в окнах типографии горели висячие лампы. Наборщики в черных халатах, с верстатками в руках, стояли у реалов.

В конторе и в редакции лампы были настольные, зеленые.

У запертой конторы дожидались граждане, принесшие объявления — о продаже роялей, о сбежавших собаках и утерянных документах, документы терялись в таком количестве, что ими должны бы быть усеяны все улицы.

Акопян сидел за своим столом, в правой руке перо, в левой папироса.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

На столах был разложен «Серп и молот». Он успевал устареть за ночь номер, датированный сегодняшним числом, выходил накануне, потому так странно кричали по вечерам газетчики: «Серп и молот на завтра», сегодняшний номер был в сущности вчерашним, и вчера же сотрудники редакции его прочитывали. Тем не менее, приходя утром, они разворачивали газету, чтобы еще раз взглянуть, как она выглядит, и еще раз бросить ревнивый взор на собственный опубликованный материал, и комнаты наполняло прохладное шуршанье, успокоительное, как бром.

Являлся Коля Игумнов, томный, с мокрыми после умывания волосами.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

С Колей Игумновым в свободные часы играли в шахматы. Коля насвистывал арии из оперетт. Арии легкомысленные, а глаза у Коли были строго опущены на доску, играл он

сосредоточенно и хорошо.

Летом, после возвращения из Маргаритовки, он оглушил Севастьянова вопросом:

— Как поживает твоя мадонна?

Севастьянов ответил:

— У меня нет мадонны.

Больше об этом не говорили.

Славный был парень, способный карикатурист, много читал, знал историю, и не донжуан вовсе, как представлялся, просто нравилось ему делать вид, будто он не может пропустить ни одной юбки, почему нравилось неизвестно.

...Часть своих комнат «Серп и молот» уступил редакции новой газеты «Советский хлебороб». (Кушля там собирался работать разъездным корреспондентом.) В первых номерах этой газеты был освещен процесс об убийстве Кушли. Общественным обвинителем на суде выступал Дробышев. Он доказал, что убийство классовое, политическое, и потребовал для убийцы высшей меры наказания.

В новой редакции, в проходной комнате, сидела Ксаня, регистрировала письма. Дробышев ее устроил, а его жена (маленькая кругленькая женщина в мужском пиджаке, с круглым гребешком в коротких волосах, Дробышев обращался к ней по фамилии: Иванова) приакуратила Ксаню по своему образу и подобию. На Ксане было платье свекольного цвета, черный пиджак, волосы коротко подстрижены и заколоты круглым гребешком; только обута была, как помнится, все в те же заплатанные сапоги. Сидела Ксаня, медленно водила пером и провожала проходящих мимо ее стола медленным диковатым взглядом исподлобья.

— Добрый день, Ксаня.

— Добрый день...

52

Вадим Железный спросил напрямик:

— Я узнал — от тебя ушла женщина? Жестокий нокаут? Говорят, она была красива?

— Да.

Нелепо: ведь не он ушел — от него ушли; откуда же был у Севастьянова стыд перед людьми, словно это он надругался над чем-то, какой-то погасил драгоценный свет?

— Она была умна?

— Почему «была», — сказал Севастьянов, — она не умерла, она есть.

— Но писал бы ты о ней в прошедшем времени, — возразил Железный, значит — «была». Ты бродишь среди развалин?.. Тот, кто взялся за перо, обязан ограждать себя от страстей, пережигающих разум. Мозг пишущего должен быть подобен отрегулированной и смазанной машине, всегда готовой принять сырье и переработать его быстро и без брака. Бодрость, ясность, собранность — наши профессиональные качества. Всему, что на них посягает, мы

говорим: сгинь. Разве не так?

Сам себе ответил:

— Да, это так! Собранность! Свойство сильных! Плодотворнейшее самочувствие из всех возможных!.. Никакой разболтанности. Боксеры тренируются, чтобы сохранить и умножить свои профессиональные качества. Обуздание желаний для них закон. Я разработаю режим для пишущих. По жанрам: режим публициста, режим поэта, режим сочинителя текстов для массовых действий.

Несомненно, это пришло ему в голову только что. И, несомненно, он тут же уверовал, что это одна из первоочередных его задач, осуществления которой ждут все публицисты, поэты и сочинители текстов для массовых действий. Весь в скрипучей коже, он был воплощением активности и целеустремленности, это внушало почтение. Все же Севастьянов не мог не запротестовать против такой безапелляционной постановки вопроса.

— Беречься, значит, от беспокойств, — спросил он, — не волноваться? Ходить с блокнотом и протоколировать?

— Сколько нам с тобой отмерено бытия? — спросил Железный. Выражение его раздобревшего лица стало элегическим. — Ты об этом думал? Голубоокая заря детства не в счет. Старость — мы не знаем, какая она будет. Много ли остается для свершения? Не удастся сделать десятой доли того, что задумано.

— Все равно не знаю, кто так может, — сказал Севастьянов, — быть машиной для переработки. Попробуй, желаю успеха, раз тебе этого хочется.

— Претворять жизнь в слово, — сказал Железный, — важнее и увлекательнее чего бы ни было. Что любовь по сравнению с словом, пускающим побеги в вечность? Признай: разве слово, напечатанное черной краской на белой бумаге, не реальнее того, что с тобой было? Оно имеет смысл. К нему можно вернуться, в нем нет эфемерности. Оно — экстракт мироздания. Через слово мы, быстротечные, подаем свой голос в громады пространства и времени.

В ту осень Севастьянов много стал читать, читал за обедом и в трамвае, записался в библиотеку и чуть не каждый день менял книги.

Он усердно заполнял делами свой день, чтоб меньше чувствовать пустоту, меньше думать о том, что так быстротечно пронеслось, — об эфемерности, да, страшной эфемерности того, что с ним было. Скоро пристрастился к чтению, с удивлением и неодобрением вспоминал, что еще недавно мог по нескольку дней не брать книгу в руки.

Районная библиотека помешалась в старом барском особняке. Два каменных льва с источенными, изуродованными старостью мордами скалили зубы по сторонам крыльца. Прохожие совали им в пасти окурки. Особняк отапливался плохо, книги сырели, библиотекарша стояла за стойкой в пальто с поднятым меховым воротником. Если она уходила в читальню затопить буржуйку, у стойки скапливалась очередь. Но по большей части топили буржуйку члены кружка друзей книги.

Библиотекарша была грустная женщина с сильной проседью в волосах, небрежно причесанных на прямой пробор. На ее худых руках остро выделялись суставы. В ногти въелась угольная пыль.

Любимым своим читателям — любила она тех, кто часто менял книги, она позволяла рыться на полках.

Ломаными линиями уходили в глубь зала шеренги книг, одни книги стояли прямо и тесно, как солдаты, другие — привалясь друг к другу. Была сладость в том, чтобы, выбрав наугад, вынуть томик, полистать, пробежать начало, страничку из середины... Покажется интересно — сказать библиотекарше: «Запишите мне это»; не покажется — поставить на место и открыть другой томик.

Было из чего выбирать, не то что в детском шкафчике Зойки маленькой. Глаза разбегались, хотелось взять то и это, целые вороха забрать с собой и прочесть не откладывая.

Тонкие книжки он, увлекшись, прочитывал тут же у полок.

К чистым, щеголеватым томам приближался недоверчиво, с предубеждением: не манило то, что годами и десятилетиями никому не оказалось нужным. Хватался за истрепанные книжки, читанные-перечитанные, распадающиеся на листки, с оборванными корешками. Нередко наружность обманывала.

Вообще, читатель он был неквалифицированный, детишки из кружка друзей книги сто очков ему давали вперед. Эти мальчики и девочки, похоже, так и жили в библиотеке. Они были серьезны, полны достоинства, разговаривали вполголоса. В читальне, в уголку, они переплетали книги, пришедшие в негодность; там стояли их переплетные станки и пахло столярным клеем, который варили на буржуйке. Когда нечем было топить, они приносили топливо из дому — кто полено, кто горсть угля в газетном кульке.

Однажды Севастьянов взял с полки толстую книгу, заглянул в середину описание церковной службы; заглянул в конец — тоже божественное, религиозные поучения. Не интересуясь, кто автор, он пренебрежительно задвинул книгу обратно. Рядом спускалась по стремянке девочка-подросток из числа друзей книги, Севастьянов постоянно видел ее тут — некрасивая, очень бедно одетая, косицы закручены на ушах, и скручивались жгутиками концы пионерского галстука. Бесшумно спускалась она, и вдруг ее ноги в детских заштопанных чулках и худых ботинках остановились у севастьяновского плеча, и, рассеянно глянув вверх, он заметил, что она смотрит на него, вернее на книгу, которую он ставит на место. Она робко сказала:

— Это, знаете, — это интересная книга.

«Рассказывай», — подумал он. Но так как она была такая некрасивенькая, с испуганными глазами, он благодарно кивнул ей и сказал приветливо:

— Я уже читал.

В дальнейшем библиотекарша руководила его чтением. Грустно-небрежно, будто между прочим, подсказывала названия, а то просто доставала книгу и записывала в его карточку, говоря: «Это надо прочесть».

Скольким людям обязан он, сколько рук потрудились, чтобы сделать его человеком.

Книга, которой он тогда пренебрег, была «Воскресение».

Но хоть и неквалифицированно, а читал он запоем, прозу и стихи, любить стихи научился уже давно от Семки и Зойки маленькой. Библиотекарша приохочивала его и к пьесам, он читал Мольера, Островского, Ибсена.

Чем больше читал, тем больше тянуло к чтению. Радовался, что книг так много, — на всю жизнь хватит, и еще с избытком!

Смешно сказать: ему нравились и оглавления еще не читанных книг, и рекламные списки, которые печатались на последней странице, там, где повествование окончено и за ним как бы закрывались ворота. Перечни книг зажигали фантазию, он пытался этими ключами открыть

запертые ларцы.

«Того же автора, — читал он с удовольствием. — «Вольтерьянец». «Сергей Горбатов». «Старый дом».

Наименования, сочетаясь, дополняя друг друга, рисовали узоры различных историй. Представлялись лица и события — потом оказывалось: не те; но было заманчиво — повообразать самому, прежде чем тебе все расскажут. Что происходило в старом доме (он, конечно, был точно такой, как этот, со львами), и что происходило в доме с мезонином, и что в доме Телье? Что за люди, именами которых названы книги?.. Воображение строило и заселяло дома; заселяло и наполняло действием тома, к которым еще и не прикасался. Вскользь думалось — когда-нибудь таким же столбиком будут печататься названия моих книг, интересно, какие это будут названия...

Он знал, что это ребяческое развлечение; но любил поиграть мимоходом в свою игру, становясь лицом к лицу с библиотечными полками.

Любил забраться на самый верх стремянки, под закопченный потолок, и побыть там, перебирая старые, в пылище, книги. Под потолком было тепло. Старые книги пахли особенным, крепким запахом. Некоторые были в бурых пятнах, как от йода. Было спокойно — то, что угнетало и мучило, не поднималось сюда наверх; оставалось у подножья стремянки...

53

Иногда он заходил в детдом, находившийся неподалеку от редакции.

Запах борща и карболки. Двор как плац, мощный булыжником, в глубине двора — два столба с качелями. Стекла в окнах разбитые и склеенные бумажными полосками.

Летом Севастьянов туда наведывался и написал в «Серп и молот», как там грязно и скверно, воспитатели неопытные, дети разбегаются. Дети (все мальчишки) были маленькие: семи, восьми лет, но уже прожили бурную жизнь, полную бедствий всякого рода. В бега пускались отважно, готовые к любым приключениям. Одни, нагулявшись, возвращались сами, других водворяла обратно милиция, третьи исчезали совсем. Те, кто не бегал, все лето с утра до вечера качали друг друга на качелях. С их маленьких лиц нездоровых, нечистых, в болячках, смотрели взрослые настороженные глаза. Стригли в детдоме редко, на головах у ребят было что-то вроде соломенной крыши.

Севастьянов написал о них и забыл — тут как раз свалились на него собственные беды. Осенью вспомнил, пошел посмотреть: какое же действие оказала его заметка. Никакого особенного действия она не оказала. Сменили заведующую и одного из воспитателей, а прочее осталось по-прежнему темные спальни без лампочек, ломаные койки, рваное белье, дурной запах, болячки. Чтобы заставить детей сидеть дома, у них отбирали верхнюю одежду и обувь; и они бегали под дождем босые, в рубашонках, в том числе больные, удравшие из изолятора. За стол садились — как крепость брали: бросались на лавки с разбойным криком, лезли друг через дружку. Во время еды затевали драки. Даже по балобановским, не очень-то строгим правилам такого не допускалось — живо тетя Маня надавала бы ложкой по лбу, подерись они с Нелькой за столом. Тетя Маня уважала трапезу, уважала трудовой кусок и их с Нелькой учила уважать.

Кормили в детдоме дрянно, грязно. И не то чтобы по чьей-то злой воле так делалось. Бедность, а к бедности — неумение, нерадивость, непривычка к хорошей жизни как у



детдомовцев, так и у воспитателей. Трудно ли как следует вымыть посуду? Трудно ли положить заплату на простыню? Трудно ли как следует поесть; да ведь и так съест; и без заплаты переспит; и воспитатели спали не лучше и ели ту же кашу из таких же плохо помытых мисок. А сам Севастьянов — давно ли стал обращать внимание на эти вещи? Его-то когда-нибудь не жили, что ли?

Не жили, и он от этого не страдал — рос себе и рос, не помышляя, что мог бы расти в более благоприятных условиях, и извлекая из выпавшей на его долю обстановки множество мальчишеских радостей. Правда, у него всегда было тяготение к пристойности: не любил хулиганов, пьяниц, бессмысленного гама, циничной ругани; но прихотей не знал никаких. Почему, став взрослым, он так близко принял к сердцу неустроенность этих малопривлекательных мальчишек? Прямо-таки совестно было глядеть на детдомовские беспорядки, словно сам был в них виноват: «Куда это годится. Не должно быть такого детства. Не должен человек созревать среди безобразия... в запахе карболки». Ревниво думал об обеспеченном, богатом светлыми впечатлениями детстве людей из чуждых классов, — сколько книг написано об этом обласканном детстве: «Они на все готовое приходили». (Еще не знал, что у каждого поколения, как бы заботливо ни были приготовлены ему пути, — у каждого поколения свои трудности; каждое поколение берет новую высоту, прежде чем выйти на поле большой деятельности.)

Он стал хлопотать, чтобы какая-нибудь солидная организация взяла шефство над захудалым детдомом. Пока ничего не получалось из его хлопот, он шефствовал единолично. Пытался воспитывать воспитателей — удивительно, что они его не выгнали и не пожаловались на него; но они относились к нему добродушно, хотя и не слушались. Узнал случайно, что после ликвидации Последгола остались кровати и другое госпитальное барахло, лежит на складе; заручился запиской Дробышева и добыл ордер на шестьдесят кроватей и шестьдесят тумбочек... Шефство над детдомом взял «Серп и молот». Типография отработала воскресник и придела мальчишек, а на седьмое ноября устроили им хорошее угощение. Бутерброды с колбасой и сыром лежали грудками, и все брали сколько хотели.

Эти мальчишки первый раз в жизни ели сколько хотели, а не по порциям. Только конфеты были розданы поровну, чтобы не вышло несправедливости.

Они, мальчишки, тоже использовали для своего увеселения все, что им перепало в их скудном житье-бытье; и вот какую забаву они придумали. Когда заходил Севастьянов, они налетали на него со всех сторон и турманами кидались ему в ноги. На оба его ботинка усаживалось по мальчишке. Они обхватывали его колени, и он шагал по коридору, высоко поднимая ноги, а мальчишки визжали от восторга; а остальные бесновались кругом, крича: «И я! И я!» Неизвестно, откуда они взяли, что с ним можно так обходиться; разговаривал он с ними довольно сурово... Он шагал и чувствовал себя очень большим, очень сильным, могущим кого-нибудь ушибить и потому обязанным быть внимательным и осторожным с этими маленькими, толпящимися у его ног.

Впоследствии в таком детдоме росли герои одной его книги. К ним приходил молодой великан и играл с ними. Великан был светловолосый, неудачливый в любви, ботинки носил сорок четвертого размера; зная, что сейчас на них усядутся, он у входа старательно вытирал их о тряпку.

Случалась с ним одна вещь. Вдруг, среди людей и шума, накатывала тишина, глубокая, до звона в ушах; и в тишине он оставался один со своим недоумением, своим вопросом: «Послушай! Зачем?..» — и такая тоска иной раз, будто умер кто-то дорогой, без кого жизнь не в жизнь... Решительно пресекая эти штуки, вырывался из тишины: хватит, сколько можно думать о том, чего не переделать.

В редакцию входит горбун. Идет к севастьяновскому столу бойко, проворно выбрасывая короткие ноги, но при этом пристально и испытующе смотрит Севастьянову в глаза — трусит и из амбиции не хочет показать, что трусит.

«Что ей может быть еще нужно?» — думает Севастьянов.

С первого взгляда он знает, что горбун пришел не сам по себе — она послала, ее существование опять становится непреложным и грозным фактом, снова она, от которой себя отбивал, отучал, которую запрещал себе все эти месяцы, — снова она приближается, она приближается с каждым шагом горбуна, — что она на этот раз замыслила?

Что бы ни замыслила, Севастьянов испытывает протест при виде приплюснутой к полу фигуры, шагающей к нему. Он предпочитает, чтобы его оставили жить как он живет. Кончена история, и ладно, и не надо его больше трогать.

— Но-но! — развязно говорит горбун скрипучим голосом, выдвинув, как щит, длинную ладонь, — выяснять, кто перед кем виноват, после будем, сейчас некогда. (Севастьянов ничего не собирается выяснять.) Сейчас нужно в срочном порядке выручать сестренку, попала сестренка в неважный переплет.

Он торопится со своими сенсациями, желая обеспечить себе неприкосновенность. Но, уязвленный молчанием Севастьянова, не может удержаться, чтобы не лягнуть мимоходом:

— Не нравится, что я зашел? Мильон напоминаний, мильон терзаний? Потерпи, ничего; я по делу. Не будь дела, не стал бы беспокоить; и не вспомнил бы, между нами говоря, что ты на свете есть. Так у вас скоропалительно все началось и кончилось, что я с тобой даже не успел более-менее познакомиться.

Придвигает стул и усаживается по ту сторону стола.

— Даже, как известно, не успели чокнуться за ваше семейное счастье... Ладно, это ерунда, давай по существу. Я говорил, чтоб она тебе записку написала, но она велела передать на словах.

Странно в чужом, недобром лице узнавать черты Зои. Карие глаза под темными тонкими бровями, это у них общее. Профиль схожий. Маленькая, с гречишное семечко, родинка на скуле. Брат и сестра. «Я жду брата», сказала она, стоя на площадке, девочка в пальтишке с короткими рукавами, а по заплеванной лестнице шел к ней горбун и вел Щипакина.

— Она в предварилке.

Вот что. А почему бы и нет? Почему не быть и предварилке, и чему угодно? С ней все может быть.

— Прыгала-прыгала и допрыгалась до предварилки.

И непонятно: досадует горбун или злорадствует.

— Ах, теперь в молчанку играть?! Из семьи сманил, а придержать за хвост, чтоб не путалась с кем не надо, — не хватило силенки? Обязан был держать! А не умеешь — какого черта сманивал?! Семья бы ее определила — ты зачем ввязался?.. Светлую жизнь обещал? Ты знаешь, как устроить, что светлей не надо! Сманил, так изволь присмотреть, а то вон какая петрушка... Тип-то этот, оказывается, на заметке, в особых каких-то списках. По

белогвардейской лавочке: в осваге, что ли, служил. Идиот, ему в кладовщиках сидеть и сидеть с липовыми документами тише мыши, не рыпаться, а он такой дым пустил; любви понадобилось! Как пить дать, к стенке станет, болван, а она...

— Она знала?

— О чем? Что белогвардеец? Откуда? Полный он, что ли, псих довериться девчонке? Он ее подговаривал уехать вместе; какой ему расчет был ее пугать?

«Это так. Она легкая, веселая, она бы шарахнулась и от прошлого его, и от будущего».

— Ничего не знала, ясно. И ничего бы ее и краем не зацепило, если б от большого ума не побежала расписываться. В Новороссийск приехали, он первым долгом в загс. Рассчитывал в Одессе венчаться в церкви. Черт его душу знает, что думал: закрепить мечтал?.. Уже фату купил на барахолке.

Он ее затаптывает в грязь каждым своим словом!

— ...Она его не любила, так только... Он-то врезался до потери сознания.

— ...Вместо венца в кутузку. В арестантском вагоне две недели ехала со всякой шпаной. Рассчитывала, привезут — выпустят, а его здесь как раз опознали и засадили накрепко, и ее держат. Получаю письмо, зовет на свидание, — слезай, приехали...

— ...Он ее чем поманил — котиковым манто.

— ...Влипла. Надо выручать. Ты если постарайся — тебе пустяк, она говорит, — завтра же она может быть свободна. Ей предъявить ничего нельзя, в чем дело? Юрист ручается, ее раньше, позже — обязательно выпустят; так чего ради ей волыниться за решеткой...

Горбун навалился на стол локтями и плечами, стол ему до подмышек, голова горбуна лежит на плечах, как на тарелке.

— Через Городницкого! — говорит горбун и, совсем осмелев, заговорщицки и повелительно поталкивает Севастьянова в грудь белым костлявым пальцем. — Городницкий, прокурор, если вмешается — ее в два счета... Она говорит — вы корешки с его братом...

Оставшись один, Севастьянов сидит оцепенелый, вялый, водит пером, машинально что-то рисуя. Мысли кружат по периферии события, только что произошедшего. Он не мешает им кружить по периферии; предается им без лихорадочности, с прохладцей; прямо сказать — цепляется за эти периферийные мысли.

О горбуне. Такая вот мелкота, нуль, а сколько может пакости натворить в мире. Продать, растлить, погубить. Неуловимо, безнаказанно. И что ты с ним сделаешь, как обезвредишь? Лишился папы — содержателя притона, лишился доходов от притона, все возненавидел и пошел, огрызаясь, что-то себе налаживать, крутиться по-своему. Как ее обезвредишь, неисчислимую мелкую дрянь? Топчет землю короткими ногами, обмозговывает, хлопочет...

Учил Севастьянова, что сказать Илье Городницкому; все слова — одно другого противней: холуйство и злобное лязганье зубами, бесстыдное хныканье и тут же какая-то юридическая юркость, бедовость, тьфу! Доведись на самом деле до разговора — «товарищ Городницкий, — сказал бы Севастьянов, — она не виновата. Ее покалечили, но перед советской властью она не виновата, она не знала, кто он такой, верь мне. Он пообещал ей дорогие игрушки, она побежала за игрушками».

Кучерявый, обреченная, темная судьба. Как он в белой куртке — вылитый кладовщик — снимал и навешивал замки... Севастьянов вспоминает его логово; и как он кормил и ласкал

свою Диану. Все стало мрачно-значительным после того, что рассказал горбун.

Вот тебе и кладовщик, сырое тесто, матрацные пружины. Враг ходил, прихрамывая, по людному двору. Отвешивал инвалидам повидло для пончиков... Должно быть, и прическу нарочно себе соорудил дурацкую, и косноязычную речь.

Здорово было сыграно. Сиди он в своей щели, может, до него и не добрались бы.

Могучее страха и расчета оказалось тяготение к Зое. Придачей к тряпкам, которые он дарил ей, была его жизнь...

«...А ты о ней все знал, скажи, что нет, — обращается Севастьянов к себе. — Никаких для тебя секретов не было в ее прошлом. Какие, собственно, у тебя к ней могут быть претензии, раз ты с самого начала все знал?» Надо же так о себе возомнить, ведь он, честное слово, был убежден в свое время, что прошлое прошлым, а отныне только и будет ей свету в очах, что он, Севастьянов.

А если бы она захотела вернуться. Если бы она захотела по-прежнему... Нельзя! Чтобы после всего она опять вошла в комнатушку за кухней? Как же он будет говорить с ней? Отводя глаза? Никогда больше не возьмет он ее за руку с той радостной верой!

И вдруг стукнуло: ты что? о чем? Она со шпаной за решеткой. Сидишь? Оттягиваешь? Сопровотяешься? Очень сейчас важно, будешь ты отводить глаза или не будешь, проблема, действительно... Она помощи твоей ждет! Вот что произошло, громадное, великое — она вернулась,

уже вернулась, сообразил наконец?! Она рядом! Прислала к тебе за помощью! Считает — ты тут горы для нее своротил, придешь, скажешь «сезам, отворись», и она на воле. А ты сидишь домики рисуешь, сволочь.

Ужаснулся: как грубо — без миндальничанья! — наказывает ее жизнь. Как ей плохо. Две недели в арестантском вагоне... Да отнесли ли ей еду какую-нибудь? Есть у нее рубашка, платье — сменить? Даже не спросил, эгоист, животное.

Да, и в комнату вернется, безусловно. Куда ей деваться, не к горбуну же. Она ведь такая же беспризорная, как те детдомовские пацаны, а то нет? Войдет похудевшая, измученная, тихая и положит узелок на стул. И опять просияет паршивая комнатушка. А ты разожжешь примус и поставишь чайник. И будешь кормить ее молча, потому что если заговоришь, то можешь заплакать, и она заплачет, получится чувствительная сцена, зачем.

А когда она ляжет отдохнуть, ты укроешь ей ноги и выйдешь на цыпочках, тогда можешь пореветь незаметно где-нибудь в коридоре, раз уж у тебя глаза на мокром месте!

Поздно вечером — нет, это ночь уже, до ночи проканителлся, — он стоит посредине мостовой (как стоял когда-то перед другим домом, при других событиях) и смотрит, закинув голову. За высоким забором крыша. Над крышей два фонаря. Резко в их свете белеют трубы на чугунном фоне неба. Она спит под этой крышей. Севастьянов отходит дальше, становятся видны фрамуги верхних окон, ряд светящихся фрамуг, — там спит она. Ее спящее лицо увидел он, ресницы ее, шелковые губы в морщинках-лучиках. Обижают ее, наверно, все эти бандитки и проститутки, это народ известный.

На улице ни души (что за улица? Какая-нибудь третья Георгиевская, вторая Софиевская, там и люди-то почти не жили, то было царство сенных складов, свалок, дворов, где стояли бочки золотарей). Ни души, кроме Севастьянова. От его шагов звенит земля. (Зима? Снега нет. Но и дождя нет, и земля звенит.)

Щелкает задвижка, в воротах открывается фортка. Невидимый кто-то спрашивает:

— Чего ходишь, эй! Что надо?

— Из «Серпа и молота»! — громко отвечает Севастьянов, спеша к воротам; по всей улице разносится его голос... Он протягивает удостоверение, но фортка захлопывается. Человек в буденовке выходит на улицу, зевая и натягивая тулуп. Буденовкой, манерой говорить, неторопливостью, беспечностью он напоминает Кушлю.

— Из «Серпа и молота»? А чего ночью здесь шатаешься? Ваши документы.

Стоя под фонарем, вертит и рассматривает красивую книжечку красной кожи.

— Севастьянов? Я тебя читал, товарищ. Читал твои статейки. Ничего пишешь. Учили тебя или сам?

— И учили и сам.

— Можно даже сказать — здорово пишешь. Правильно берешь под ноготь все что следует. Молодец.

Не видно, какого цвета у него глаза. Но так и кажется, что они должны быть ярко-голубыми.

— А чего ты тут?

— Тут человек у меня один.

— Ну-у? Кто ж? Из родни кто?

— Сестра.

— Скажи ты! — ужасно почему-то удивляется человек в буденовке. Ай-ай-ай. Родная сестра?

— Я думал — может, можно повидаться.

— А как же. Возьмешь разрешение и придешь повидаться, и передачку забросишь, строгости особенной нет. Даже на побывку домой отпускают, кто помирней и не чуждый социально. Ведь это в основном простой народ. Через свою темноту и бедность совершают разные нарушения, и на ихнее пролетарское происхождение делается справедливая скидка. Справедливая-то она справедливая, но я тебе скажу, знаешь ли, пора бы им возыметь совесть и перестать нарушать. Такое мое мнение. Восьмой уж год идет революции, можно бы осознать, кажется. Можно бы проникнуться, в какую ты существуешь эпоху и куда идут массы, а свой шкурный интерес отложить в сторону. Грабят, понимаешь, убивают, ну что такое... Закури, товарищ.

Он протягивает Севастьянову папиросы. Подносит в больших ладонях зажженную спичку.

Глупость какая — вообразить хоть на минуту, что тебя впустят ночью в такое место по редакционному удостоверению...

— Спасибо. Пока.

— Будь здоров, товарищ.

Трамвай уже не ходит. На Сенной площади Севастьянову удается вскочить в проносющийся что есть духу грузовой вагончик. Стоя на подножке, без остановок мчится он по ночным улицам к Илье Городницкому.

Семка сидит под молочно-белой лампой и пишет.

— Илья, должно быть, спит, — говорит он, глядя рассеянно и расчесывая тонкими пальцами встрепанный чуб. — Что тебе так срочно? Я ему пишу письмо.

Он не удивлен поздним вторжением Севастьянова; у него у самого бушуют бури.

И Севастьянов не удивляется, что Семка пишет письмо брату, спящему в соседней комнате, — не до того Севастьянову.

Ковер уставлен кипами книг, связанных веревками, как в тот день, когда Семка сюда переехал.

Семка спохватывается:

— Что случилось?

И, выслушав краткую информацию, мучительно щурится:

— Он спит, по всей вероятности... Не знаю, захочет ли он... А впрочем...

Он выходит. Севастьянову слышно, как он осторожно стучится в дверь рядом; слышно, как он в коридоре с кем-то переговаривается сдержанным басом... Возвращается он с Марианной. Она говорит, входя:

— Нет, ну как можно, он только что заснул, — здравствуйте (это Севастьянову), он только что заснул, неужели нельзя подождать до утра?

Она кутается во что-то голубое и длинное, с длинными висячими рукавами, золотые волосы заплетены в косу, она сонная и сердитая, и, когда Семка пытается замолвить слово за Севастьянова, она перебивает:

— Ну да, ну да. Все это очень грустно, но будить я не разрешу. Он устал. Ему нужен покой. Никаких ужасов не происходит, как я поняла? Вашу знакомую просто задержали, не правда ли?

Севастьянов помнил ее нежной, ко всем расположенной, предлагающей им, ребятам, конфеты и дружбу.

— Не вижу повода заставлять его вскакивать среди ночи.

Семка щурится и говорит:

— Повод есть, Марианна.

— Ах, конечно, это ужасно неприятно! — восклицает Марианна. — Кто же спорит! Бедняжка! Конечно, Илья сделает все... но что можно сделать сейчас?

Должно быть, устыдилась своего раздражения; тон смягчается.

— Извините меня, — она берет Севастьянова за руку, — вы расстроены, вы не подумали: ведь он должен разобраться в этом деле, так же сразу он не может, не правда ли?

Лицо светлеет, становится таким, как помнит Севастьянов, — милым, немного беспомощным.

— Ошибка, вы говорите? Увы, это иногда случается, к сожалению... Ошибку исправят! Не горюйте! Ошибки всегда исправляются!

Белыми руками в голубых рукавах она ласково держит Севастьянова за руку.

— Я понимаю: вам хотелось поскорей излить ему свое горе! Да, да, я понимаю! Но вы знаете: он хрупкий, у него слабое здоровье! — Умоляющая улыбка. — Его надо беречь! Пусть он поспит! Вы ему все расскажете завтра!

Севастьянов глядит на нее сверху. Что он делает? Глупость за глупостью... Какого черта вломился? Что могло получиться из этого набега? Неудивительно, что Марианна рассердилась... А зачем она держит его за руку? Он не знает, как высвободить свою руку. Не умеет он отвечать на эти улыбки! Зачем ему ее сочувствие? Ей же дела нет до Зои и до него, как бы она ни улыбалась и какие бы ни говорила слова, профессорская дочка в голубом шелку! Он не к ней пришел, а к Илье Городницкому, коммунисту; при чем она?..

Но так или иначе, он перед ней виноват. И он что-то бормочет признает свою вину.

Марианна заверяет, что он ее нисколько не беспокоил, да нет, нисколько, что вы! Его уговаривают остаться ночевать...

Семка провожает его по коридору. Говорит глухо:

— Ляжет ради него под поезд и взойдет на эшафот.

Севастьянов догадывается, что это о Марианне и ее любви к Илье.

Догадывается и о том, что означают стопы книг у Семки на полу и письмо, которое писал Семка. И откровенно просит:

— Обожди переезжать, ладно?

— Я могу устроиться иначе как-нибудь, — отвечает Семка. — Ты об этом не заботься.

А женщина в голубом одеянии с висячими рукавами — представлял себе впоследствии Севастьянов, — вернулась к своему мужу. Довольная, что уберегла его покой, что она такая хорошая ему охранительница, — взглянула на него, спящего, и, может быть, перекрестила его, вполне возможно, что она это сделала: не потому, что была религиозной, а от избытка любви. Потом легла осторожно, счастливая, уверенная в своем счастье, в своей силе; и золотая ее коса свесилась с подушки.

56

К Илье Городницкому Севастьянов на следующий день ходил в прокуратуру, говорил с ним и заручился его обещанием срочно ознакомиться с обстоятельствами Зоиногo ареста.

Совсем молодой прокурор был Илья Городницкий.

Уж одно то, как он вошел... Его пришлось подождать. «Прокурор в суде», — сказала секретарша. Севастьянов довольно долго просидел в приемной. Кажется, при старом режиме в этом здании тоже помещалось что-то относившееся к юстиции. Старая юстиция построила

эти толстые стены и полукруглые, торжественные, как в соборе, глубокие окна. И деревянные диваны каменной прочности, с полированными покатыми спинками.

Через торжественную приемную Илья прошел — пролетел — широким быстрым шагом, взмахивая портфелем, — оживленный, стройный... Севастьянов не узнал его в первую секунду: Илья был без бороды; Севастьянову показалось, что мелькнувшее красивое лицо он видит впервые... Секретарша, проворно поднявшись, английским ключом открыла дверь кабинета. Прием начался. Первой, крестясь, прошла к прокурору старуха в черном платке.

И в кабинете были окна церковного типа, в полукруглых глубоких нишах, и чрезмерно высокий потолок, под ним сгущались сумерки, — внизу еще было светло. Озеро натертого паркета, стол — остров среди озера.

Илья сидел у стола боком, небрежно, узкоплечий, странно тонкий, не заботясь о том, чтобы приосаниться, принять более солидный вид, больше соответствовать этой комнате, построенной строгой старой юстицией. У него улыбались глаза.

И до чего же молодо выглядел, много моложе даже своих молодых лет.

Впечатление было такое: залетел мимолетно в комнату с церковными окнами — занесенный ветром — некто юный, полный бесстрашных надежд, не собирающийся здесь засиживаться; сейчас снимется с места и понесется дальше куда-то, как перекаати-поле.

Правильное впечатление; вскоре оправдалось — меньше года он проработал в нашем городе.

С чего бы он стал приводить себя в соответствие с зданием, куда занес его ветер? Не в его характере было приспособлять себя к чему бы ни было; неволить себя без нужды. Ему поручали трудные дела, и все у него выходило, это наполняло его безграничной самоуверенностью.

Марианна выдумала, будто он слаб здоровьем; может — для себя выдумала, чтобы еще больше получать отрады, окружая его попечением и лаской. Ни слабости, ни усталости не было в его лице, бледноватом, без румянца, но словно бы изнутри освещенном, словно только что ему рассказали что-то обрадовавшее его и окрылившее, — хотя что радостного могли рассказать старухи, входившие сюда крестясь...

Ни капли усталости! Он жил активно и упоенно и собирался жить так без конца.

А встреча их была короткая. Кратчайшая. Встреча, которой Севастьянов добивался и которая была так важна, — сколько минут она длилась? Восемь? Пять?

Илья произнес несколько считанных слов; ровно столько, чтобы начать разговор и завершить его и чтобы разговор этот, несмотря на краткость, получился все же человеческим и бодрящим, а не бюрократическим.

— Мне о вас говорили мои домашние. Мы, говорят, встречались, — сказал он мягко и дружелюбно, когда Севастьянов назвал себя. Дружелюбие и мягкость проистекали из довольства собой; из сознания своего значения; из масштабов надежд и планов. Что стоило Илье Городницкому излить на человека частицу своего превосходного настроения?

— Я не очень понял, что у вас стряслось. Рассказывайте. — И стал слушать, делая по временам заметки в блокноте. Слушал терпеливо, с оттенком снисходительного пренебрежения к ничтожности тревог, приведших к нему Севастьянова. Как ни был вежлив, скрыть пренебрежение не удавалось. В приемной ждало еще душ двадцать, вполне возможно, что севастьяновская беда невелика была по сравнению с их бедами, — но не



испытывал ли Илья Городницкий такого же пренебрежения и к тем двадцати, превратности их судеб не были ли в его глазах так же мизерны и убоги...

Но он был терпелив, только раз взглянул на часы. Даже вставил великодушно пару реплик, давая понять, что рассказ Севастьянова для него небезынтересен:

— Ах, это тот осваговец... Он порядочно погулял на воле, а? Вот видите, как мы еще скверно работаем.

— Однако! Ради нее пустился на такой риск? она так его пленила? Занятно.

И сразу прервал, вставая:

— Хорошо. Я займусь ее делом в ближайшие дни.

— Да у нее и дела никакого нет, — возразил Севастьянов, считавший, что не все договорил, — она...

— В ближайшие два-три дня, вот так, — сказал Илья с той же мягкостью. — И если она хоть вполовину так невиновна, как в вашем изложении...

Он располагающе улыбнулся. Прокурор улыбнулся добродушно и шаловливо.

Севастьянов собирался добавить что-то; но Илья нажал кнопку на столе — сейчас же в двери царпнул ключ, вошла секретарша. Илья бросил, уже не глядя на Севастьянова:

— Следующий.

И все. И, в сущности, этого было вполне достаточно. К чему бы этой встрече быть продолжительной, а тем более взволнованной?.. Илья сдержал обещание, через три дня Зоя вышла на свободу.

Говорят, он вообще был в работе точен и исполнительен.

Он был талантлив, считал Семка; память исключительная. Ухитрился одолеть несколько языков, свободно говорил на них и читал. Ходил по комнате и наизусть шпарил «Фауста» по-немецки. У Марианны от благоговения закатывались глаза.

Ее благоговение благодаря Семке приняло гиперболические размеры. Прежде Илья был просто мужчина, для которого она покинула любимого папу-профессора, и любимую старую гувернантку, и весь круг своих друзей и своих уютных привычек; но ознакомившись по Семкиному настоянию с творениями, формирующими нашу идеологию, она себе составила болезненно преувеличенное понятие об. Илье, об его роли и подвигах; окружила его неслышанным ореолом, — таковы были результаты ее чтений с Семкой, долженствовавших сделать из нее передовую женщину и борца. Так уж преломились эти чтения в ее неподготовленном мозгу. Семка иронизировал над результатами своих стараний, щуря глаза, полные слез.

Бороду Илья отрастил, оказывается, в знак траура, когда не вышло с большим назначением в наркомат, — он же мог дурачиться по любому поводу. Потом борода надоела, возни много; сбрил... Он рвался в Москву. Горел нетерпением, ожидая, чтобы его отозвали обратно. Только в центре по-настоящему чувствуешь пульс жизни, говорил он. Не то чтобы он скучал в родном городе; вряд ли он и умел скучать; просто, вот именно, тянулся к пульсу — где громче, где горячее.

Из письма Семки Городницкого к Илье Городницкому:

«...возишься с растратчиками, взяточниками и тому подобным исчадьем старорежимного ада. И, говоря объективно, весьма похвальная черта, что вечером запираешь все эту дьявольщину в сейф и приходишь домой с шуткой...

Ближайшая мишень — младший брат. Застрявший в детстве, как ты многократно и недвусмысленно давал ему чувствовать.

Приветствую шутку как орудие критики, как проявление высокой умственной организации homo sapiens'a, как отдохновение, наконец... Ты шутишь — мы все трое бодро смеемся. Но нельзя жить, когда на каждом шагу подчеркивают, что ты нуль.

Шуточка, повторенная десять раз, прилипает как мушиная липучка. Человек ложится и встает с ощущением своей неполноценности. Его социальное самосознание отравлено этим ощущением. Работа валится у него из рук.

То, что тебе посчастливилось в гимназической шинели, желторотым птенцом, влететь прямо в пекло боя — это, согласишься, случайная удача. Дар эпохи.

Югай тоже мальчишкой пошел воевать, и тоже комиссарил, и тяжело ранен под Ростовом, и награжден именовым оружием, однако Югай не смотрит сверху вниз на нас грешных — тех, на чью долю достались не столь громкие деяния.

Илья, но разве то, что делают мои сверстники, я в их числе, — не есть борьба?

У тебя повернулся язык спросить — как я ухитрился на этой ерунде нажать чахотку.

Предлагаешь меня «устроить». Тебе нравится «устраивать», удостоверяться в своем влиянии — что достаточно твоего пожелания, и брата твоего «устроят», как «устроили» отца. Спасибо, я не хочу ходить на помочах. У меня свои ноги. Я люблю мою работу. Я вижу, как из многих усилий, таких же малозаметных твоему взгляду, как мои усилия, складывается результат, нужный советской власти и партии, — в этом смысл и счастье моего существования. Инструктор чего-то, что Илье Городницкому кажется игрой в куклы, — я отдам этой работе всю мою кровь до капли.

Если это смешно — смейся!

Мы с тобой ни разу не поговорили на равных основаниях, как товарищи по борьбе. Ни разу ты не спросил, что я думаю по основным вопросам политической жизни. О серьезных вещах беседуешь только со своими друзьями. Стоит мне вставить слово, у тебя веселое удивление в глазах: как, Семка что-то произнес? Выразил свое мнение? Что же значит его мнение, если сам он ничего не значит? Вслух ты этого не говоришь, ну еще бы. Но однажды, в ответ на некое мое замечание (оно касалось, ты безусловно не помнишь, специфических особенностей классовой борьбы в Англии), ты погладил меня по голове как маленького и спросил: «Что, детка?»

Илья, разница в возрасте у нас не такова, чтобы ты меня мог гладить по голове! Вообще не знаю, кому бы я разрешил подобную вещь. Позволь тебе сказать, что по ряду вопросов я мыслю более зрело и глубоко, чем ты. (Сужу по отдельным твоим высказываниям.) Начиная с 1921 года меня постоянно включают в комиссии по проверке политических знаний членов комсомола. Но тебя это не интересует, как все, что составляет собственно мою жизнь как комсомольца. Ты комнату, в которой я живу, называешь детской...

...Зачем нам жить вместе, скажи на милость?

Родство? Пережиток...

Я уйду, Илья, из моей детской».

Так, или в этом роде, писал Семка брату.

Письмо не было отправлено. Во-первых, Семка, перечитав, обнаружил в нем ужасающий индивидуализм. Невозможно, сказал он, сплошь личные местоимения.

Во-вторых, он задумался: на все ли сто процентов он принципиален? Не продиктовано ли письмо его, Семкиным, отношением к Марианне, это было бы недостойно. И, задумавшись, он решал этот вопрос много лет. Но из детской ушел, не дожидаясь решения.

58

Зоя не вернулась в комнатушку за кухней.

Севастьянов приходил и рывком отворял дверь: пуста была комнатушка и никаких перемен в ней, все так, как он, уходя, оставил.

Ночью не ложился: может быть, думал, она стыдится людей после всей этой истории; придет, когда ни одной души нельзя встретить.

Бодрствовал, прислушиваясь к стукам и шорохам, и засыпал у стола, опустив голову на руки. Света не выключал — до утра светило окно, призывая ее.

Сколько-то ночей прошло и дней. Он перестал ждать.

Уже перестав ждать, услышал это сочетание имен: Зоя и Илья Городницкий...

Пусть так. Он ведь все равно перестал ждать.

59

Когда-то Семкина койка стала лишней в комнате, и Севастьянов отволок ее на чердак.

Теперь он притащил ее обратно и поставил на прежнем месте.

Семка вошел и окинул взглядом дырявые стенки. Его горбоносое, без щек, лицо выразило, что он тронут. Но он сказал юмористически-напыщенно, подняв руку с тонкими, как карандаши, пальцами:

— Привет тебе, приют священный!

За Семкой пионеры, войдя гуськом, внесли книги, увязанные аккуратными стопками. (Сколько еще предстояло этим книгам странствовать! Сколько раз их увязывали и развязывали, втаскивали на верхние этажи, расставляли на полках, заколачивали в ящики, возили по железной дороге большой и малой скоростью! И от странствия к странствию их становилось

все больше...)

Электрификация и Баррикада в этот раз не сопровождали Семку. Они повыходили замуж. Из них вышли жены добрые и домовитые — насколько домовитость была достижима в их неустроенном бытии.

Севастьянов и Семка сосуществовали в комнатухе за кухней так же мирно, по-товарищески, как и прежде. Принося домой хлеб и пакетик с колбасой, один лаконично предлагал другому:

— Питайся. Краковская.

Они не мешали друг другу читать, писать, размышлять, уходить, приходиться... Так было до отъезда Севастьянова. Близилось время новых больших событий в его жизни, время, когда ЦК комсомола заберет его в новую, молодую, боевую газету — «Комсомольскую правду», и станет Севастьянов разъездным корреспондентом «Комсомолки» и пойдет колесить по стране...

Илья Городницкий уехал раньше.

Влиятельные доброжелатели отозвали его; он вторично покидал родной город.

Севастьянов видел, как уезжала Зоя.

(Последнее проявление слабости. В Москве он ее не искал. Ни у кого никогда не спросил — не знаете ли, где такая-то...)

Он стоял в зале для ожидающих, возле бака с кипяченой водой, и смотрел через большое зеркало. По стеклу мороз набросал пунктиром листья и звезды; сквозь эту узорчатую кисею Севастьянов смотрел как на сцену. А его снаружи увидеть было нельзя.

Зеленый вагон был прямо перед окном, и между окном и вагоном большая группа людей и в центре Зоя.

Она уезжала с Ильей Городницким и Марианной. Много народу пришло провожать — приятели Ильи, в том числе толстяк Фима, заведующий губздравом, — но никого не было из Зоиных друзей, ни Зойки маленькой, ни Спирьки Савчука, ни одного человека: всех она расшвыряла, не дорожила никем; верно, видела перед собой бесконечный путь и несчетно встреч... Рядом с ней стояла рослая женщина в пуховом платке, с отекившим напудренным лицом и длинными бровями: ее мать. Горбуна не было...

Поодаль сутуло стоял Семка, уставив на Марианну сурово-безнадежный взор. Был и старик Городницкий — примирившийся со своими разочарованиями, по-прежнему франтом, с тростью, в котиковой шапочке. Близости с многообещающим сыном так и не получилось. Илья только устроил отца на должность товароведа, чтобы старик не портил ему настроение и анкету своим социальным неблагообразием.

— ...И роман с этой девочкой! — говорил впоследствии старик Городницкий, вздергивая плечи. — Как может человек такого положения, как Илья, заводить подобные романы! Девочка из домзак! Что за вздорная бравада! Я ему сразу сказал: ты с ума сошел!.. Считаю, — не без яда заключал старик свои восклицания, — что Илье при отъезде следовало отпустить бороду вдвое длинней, чем та, с которой он приехал.

Илья отрастил на этот раз не бороду — крохотные усики, с темными усиками вид у него был донжуанский, усики выдавали его томление, поглощенность собой, разброд его мыслей... Он говорил и вертелся, перебрасываясь от собеседника к собеседнику и нервно смеясь. Вдруг выключался, взгляд застывал, рука беспокойно пощипывала ниточку усов...

Среди мужских фигур Зоя была как Царь-девица из сказки в своей меховой шубке, в островерхой шапочке вроде тюбетейки, расшитой пушистой шерстью ярких цветов, румяная от мороза. По-новому причесана: пробор впереди и волосы туго затянуты от висков назад и немного вверх, от этого глаза казались еще более удлинненными, японскими, необыкновенно прекрасными. Ни страдания, ни раздумья не наложили пережитые треволения на это лицо. Беспечная, стояла она, пританцовывая на каблуках высоких фетровых бот... Марианна в ее блеске меркла, исчезала. Но она не сдавалась, Марианна, держалась храбро и всем товарищам Ильи по очереди давала свое объяснение текущих событий, как рассказывал потом Семка.

— Да, — говорила профессорская дочка, — мы привязались к Зое. Зоя привязалась к нам. Мы берем ее с собой, чтобы она посмотрела Москву и московскую жизнь, она, бедняжка, ничего не видела... У Зои блестящие способности, но ей, к сожалению, почти не пришлось учиться, это нешлифованный алмаз, мы хотим дать ей образование.

Так пыталась она удержаться на гребне вала, который вдруг поднял и понес ее, Илью, ее немудреное комнатное счастье. Она осунулась, линии губ и подбородка стали жесткими; поблекли даже ее золотые волосы. Зоя смотрела на нее и улыбалась ласково и беспощадно.

Иногда эти ласковые лукавые глаза встречались с глазами Ильи... Как они мерялись взглядом, эти двое! Какой жар, какая бесшабашность! Кому из них предстояло сгореть в этом жару? «Ты сгоришь, — обещали нежно улыбающиеся глаза и губы Зои, — ты сгоришь, я уйду целехонькая...»

Раздался второй звонок. На перроне засуетились, прощаясь. Зоя поцеловалась с матерью, потом всем подала руку. Детская, чуточку неуклюжая и радостная была у нее манера — как-то издали протягивать руку и при этом делать движение, словно вся она устремлялась к тому, с кем собиралась обменяться рукопожатием... Прощаясь с Семкой, что-то проговорила, Семка рассказал потом — велела передать привет всем ребятам; а Шуре, сказала, отдельно и очень большой...

Марианна вошла в вагон. За ней, весело оглядываясь через плечо, поднялась Зоя, потом Илья... Третий ударил звонок, тронулся поезд; рядом с ним пошли — замахали, закричали — провожающие. На площадке среди голов Севастьянов видел пеструю шапочку. Вагон проплыл мимо окна, площадка с пестрой шапочкой — как оборвалась... Севастьянов пошел с вокзала.

60

На этом вокзале он вышел из вагона спустя тридцать с лишком лет взглянуть на места, где родился и рос.

Вокзал был новый. И площадь за вокзалом новая, чистая и нарядная, окаймленная пышными деревьями (те самые деревца, что сажали когда-то на субботнике?..), с целым полем астр и фонтаном посередине. На площади было просторно: пока Севастьянов сдавал на хранение чемодан и брал плацкарту на вечерний поезд, большая часть приехавших с ним уже схлынула. Можно было без труда сесть в автобус или взять такси, подождав несколько минут на стоянке. Но он пошел пешком — по неузнаваемой площади пошел в знакомом направлении на Коммунистическую.

На всем печать новизны; как во всех городах — новизна начиналась с неба и крыш. Крыши дыбились антеннами, а небо перечеркнуто было длинным, жемчужно-светящимся,

неправдоподобно ровным и узким, как лента узким облаком, его сотворил человек, который в этой утренней высоте пролетел на самолете.

Машина поливала улицу, и, огибая медлительную машину, по мокрому асфальту прошелестел троллейбус. Прежде на Коммунистической была трамвайная линия, трамвай поднимался в гору от вокзала так медленно, что его можно было нагнать шагом, а к вокзалу, с горы, мчался что было духу, звоня и подвывая.

И вся Коммунистическая была новая, послевоенной постройки. Новые дома были красивы. Очень много стало зелени: деревьев, газонов. Полосы цветов вдоль тротуаров. За тополями, акациями, кленами белели балконы и колоннады.

Где находился «Серп и молот», теперь был скверик. Дети играли на песке.

Так же новы и светлы были улицы, вливающиеся в Коммунистическую. Они носили всё те же названия; с невольной нежностью Севастьянов читал: Лермонтовская улица, Мариупольский проспект, переулок Семашко...

И как толчок в грудь: переулок имени Югая. Синяя с белым дощечка на стене. Югай погиб в Отечественную войну. За два дома от этого угла в двадцатые годы было общежитие ответработников...

...Этот чистый, красивый город не был похож на город севастьяновской юности. Но чертеж города — сплетение его улиц, пусть асфальтированных, не булыжных, — был тот же наизусть известный чертеж, по-прежнему Севастьянов мог бы с закрытыми глазами прийти с вокзала в дальний Пролетарский район, туда, где между парикмахерской и баптистской молельней была темноватая узкая комната, где они работали с Кушлей. Это был родной город, и сердце у Севастьянова билось.

Он подумал: в скольких книгах описано, как человек возвращается на старые места, и все ему кажется маленьким. А я вернулся и все нашел таким большим, несмотря на разрушения и утраты, какие были.

...Увидел вывеску: «Серп и молот» — на богатом доме, ничем не напоминающем тот ветхий трехэтажный дом... Почти машинально вошел в просторный, как в гостинице, вестибюль. Бархатные дорожки, лифт, дубовые вешалки... На стеклянной доске прочитал, что тут помещаются редакции четырех газет и журнала: в том числе указана была вечерняя газета. Множество отделов, редакторов, замов, завов.

Севастьянов поднялся на второй этаж, заглянул в три-четыре комнаты. Незнакомые люди оборачивались к нему; он тихо прикрывал дверь. В одной из комнат молодой человек с живостью сказал, увидя его:

— Вы не Протопопова ищете? Он просил подождать.

— Нет, — ответил Севастьянов. — Я не ищу Протопопова.

...Он не обнаружил квартала, где они жили с Семкой, где было «Реноме»: там несколько кварталов слили и всё застроили однотипными жилыми корпусами, корпус к корпусу...

...Прошелся по новой щеголевой набережной. Ни рельсов, ни штыба на ней не было, а была автотрасса и аллея для пешеходов. К его услугам имелся речной трамвай, но Севастьянов только издали, с набережной, бросил взгляд на тот берег: бледной полосой, плохо различимой среди сверканья воды и небес, выглядел тот берег... Затем на автобусной остановке долго пришлось расспрашивать — никто из ожидавших там людей не мог сказать, какой номер автобуса идет в бывшую Балобановку. Наконец одна пожилая женщина сказала:

— Это вам надо в Дзержинский район.

Севастьянов послушался и поехал в Дзержинский район.

Автобус вез его сперва по улицам, узнавание которых волновало узнавание сквозь черты, наложенные новизной. Некоторые улицы, подальше от центра, изменились мало... Потом произошла такая вещь: напоминание о прошлом исчезло, а узнавание осталось; даже усилилось, стало ярче. Этих улиц здесь не было. Этих заводов здесь не было. Этих парков здесь не было. И в то же время он все это видел много раз, в разных концах страны — это был до мельчайших деталей привычный глазу пейзаж новой нашей окраины. Привычный каждым фасадом, краном, ларьком, каждой вывеской и рисунком каждой буквы на вывесках.

«Да ведь я давно проехал и Балобановку, и Дикий хутор, — догадался Севастьянов, — если это действительно те места!» Автобус остановился: дальше была степь. Сразу за свежоштукатуренным светло-розовым домом начиналась степь. Севастьянов вышел. Постоял, поискал глазами: нет ли признака, что тут где-то были на лице земли селения Балобановка и Дикий хутор? Ни одного признака. Степь, запах полыни. Безмятежное покачиванье бессмертников. За спиной — наступающая громада, поглотившая кусок степи с рощами, балками и селениями.

Обратно он опять шел пешком, чтобы хорошенько осмотреть все, чего не было раньше. Шел и смотрел, и не заметил в своем подробном и требовательном осмотре, как отгорел день.

Спускалось солнце, когда он добрался наконец до Первой линии.

Он заранее задумал, что Первая линия будет завершением этого дня.

Издали, от угла, увидел дом Зойки маленькой и улыбнулся ему.

Дом был цел, и жалюзи выкрашены ярко-зеленой краской.

Того подворья рядом — с залитым помоями двором — не существовало. Его не существовало уже в тридцатом году, когда Севастьянов приезжал из Москвы в командировку. А дом Зойки маленькой стоял тогда и стоит теперь между новыми домами.

Белые занавески на окнах. Звонок — белая пуговка. Те же камни крыльца, не знающие износу. Правда, стал этот дом совсем маленьким, таким маленьким, что кажется — можно его поставить на ладонь...

И, подходя к нему, Севастьянов вспоминал, как в тридцатом году, приехав в командировку, он поздно ночью пришел на Первую линию и сидел один на этом крыльце.

Он сначала навел справки в управлении дороги и ездил на станцию Н-скую, в железнодорожную школу. Нагрелся туда в разгар уроков и был уверен, что застанет ее, а ему сказали, что она в отъезде, на селе, под Воронежем, работает по коллективизации. И хотя этого можно было ожидать в тридцатом году много народу было мобилизовано на село, — но Севастьянов был обескуражен, даже поражен, он готовился к встрече и приготовился, и ждал этой встречи — хотя что, казалось бы, значила забытая детская дружба... Он шагнул от нее прочь и стал мужчиной, когда она была девочкой и жила в тишайшем, аквариумном мире. Они стали разными; гораздо более разными, вероятно, чем были. И наверно же, у нее муж, ребенок. Зачем вообще встречаться, что они друг другу скажут после того расставанья. После шестилетней разлуки. Дома с зелеными жалюзи все равно что нет на свете...

Но он пришел к дому с зелеными жалюзи и присел на крыльце выкурить папиросу. В тридцатом году было дело, в конце лета, поздней ночью. В ночь на третье сентября; утром он должен был уехать. Первая линия спала. Севастьянов курил и думал, как хорошо ему было в

этом доме; и это кончилось. Никогда никого не было роднее и теплее, чем она; и это кончилось.

Как они ходили вчетвером по этой мостовой и рассуждали о поэзии... и это кончилось, все разлетелось, и он здесь случайно, вот рассветет — его тоже не будет...

«И тут случилось чудо, маленькая. Много в моей жизни было чудес, и даже чудеса тускнеют от времени, а этому потускнеть не суждено... Я сидел на крыльце, и бог знает как далеко ты была, и я услышал шаги. Шесть лет не виделись и стали другими, а я издали услышал твои шаги, ясный перестук твоих каблучков в тишине, поступь легких ног Зойки маленькой. Я слушал, как приближаешься ты, и видел, как ты появилась, с чемоданчиком в руке, из черной тени акаций, и споткнулась, и все медленней, медленней подходила, и остановилась, и прижала руку к груди...»

... - Нет, не жил, — сказал Севастьянов, — просто мне хотелось бы пройти по комнатам, если вы позволите.

Старуха в платочке, отворившая ему, все еще глядела на него с сомнением.

— Так, может, ваши близкие здесь жили?

— Да. Здесь жили мои близкие.

Она впустила его.

Было тесно от кроватей. Исчез прежний уют и прежние вещи. Исчезла дверь из столовой в Зойкину комнату, вместо двери стена с обоями, — но и тут сквозь все проступал знакомый чертеж, и было приятно, что эти стены стоят на месте. Пусть они стоят на месте.

— У вас большая семья, — заметил Севастьянов, идя между кроватями.

— Семья небольшая, — сказала хозяйка. — Мы пускаем абитуриентов. Она произнесла ученое слово гордо и отчетливо. — Абитуриентов, знаете, которые приезжают держать в институт.

О доме заботились: со двора была пристроена терраса, обвитая диким виноградом. На террасе сидели, трапезничали девушки со стриженными и завитыми головами разных мастей.

— Это абитуриенты, — сказала хозяйка.

Два парня лежали во дворе под черешнями, обложившись книгами.

— Благодарю вас, — сказал Севастьянов хозяйке. — Простите, что побеспокоил.

— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно сказала она. — Конечно, интересно бывает повспоминать свои молодые годы.

Он простился и пошел на вокзал.

Вечерняя жизнь закипала на улицах. Шла молодежь, одетая легко и светло, по-южному. В кино «Гигант» окончился сеанс, разгоряченные толпы выливались из распахнутых дверей. Мужчины стояли в очереди у газетного ларька — ждали вечерку. В городском саду играла музыка, и у входа в сад продавали розы.

— Купите розочку! — сказала продавщица и протянула букет. Севастьянов приостановился, он явственно услышал голос, сказавший когда-то: «Купи мне розочку!» Представилось — в этой молодой толпе идет и Зоя с розами в руках. Остыла его страсть к ней и зажила обида;



может быть, Зою уже нет в живых; но он еще раз увидел ее в цветении и ликованиях, с розами в руках...

На вокзале зашел на телеграф и в толчее, у почтовой конторки, написал телеграмму жене.

«Был на Первой линии, — написал он, — видел твой дом».

Послезавтра утром он будет обо всем ей рассказывать, и глаза у нее будут влажные, ее зеленые милые глаза.

Он написал номер поезда и вагона, чтобы она его встретила. Отправив телеграмму, взял из камеры хранения свой чемодан, сел в поезд и поехал в Москву.

1958

А. Нинов. «Сентиментальный роман»

Впервые: Новый мир. 1958, № 10, 11; отрывок: «Зойка маленькая» // Советская женщина. 1957, № 11; Сентиментальный роман. Л.: Лениздат, 1958.

В год 40-летия Октябрьской революции, отвечая на анкету «Правды», Панова впервые упомянула о замысле своего нового крупного произведения, над которым она тогда увлеченно работала: «Я пишу роман о молодежи начала 20-х годов, о моих сверстниках, которые в момент революции были детьми и трудовую свою жизнь начали лишь к концу гражданской войны — как раз тогда, когда была безработица, заводы не работали и нам приходилось очень трудно. Теперешняя молодежь не представляет себе этих трудностей...

Я пишу и вспоминаю не голодное наше бытие, — наши тогдашние песни вспоминаю я, наши страстные споры, нашу гордость открытой перед нами необъятной перспективой, наше увлечение заботами и мыслями времени. Я пишу обо всем этом, и работа доставляет мне счастье, и даже величие сегодняшнего дня нашей страны не закрывает для меня сияния тех суровых и чистых, навеки врезавшихся в душу дней» (Правда. 1957, 19 мая).

В мае 1958 г. Панова сообщила о своей готовности передать роман для публикации в «Новый мир», и А. Т. Твардовский, главный редактор журнала, со своей стороны ответил: «...Жду Вашего нового сочинения с горячим интересом и надеюсь читать его в числе первых поклонников Вашего таланта» (ЦГАЛИ[2]. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 343).

Работа над рукописью романа практически была завершена летом 1958 г.

Более чем какое-нибудь другое произведение Пановой «Сентиментальный роман» построен на автобиографическом материале и содержит в себе многочисленные реалии ростовского окружения писательницы 1920-х гг. Говоря о жизненной основе этого произведения, Панова подтвердила в беседе 1959 г.: «В нем (в «Сентиментальном романе». — А. Н.) много автобиографического, непосредственно пережитого, хотя, конечно, есть и вымысел. Но это тот редкий для меня случай, когда я могу точно указать реальные прототипы почти всех основных героев. «Сентиментальный роман» вовсе не был задуман как историческая вещь, хотя там идет речь о двадцатых годах. И — если вы заметили — не только о двадцатых, так как действие перебрасывается и к тридцатым годам, и в наши дни. Мне хотелось, чтобы в каждом герое были отчетливо видны его задатки, его будущее, его возможная судьба — все то, что приближает ровесников моей юности к нам» (ЛГ.[3] 1959, 3 окт.).

Начало журналистского пути главного героя «Сентиментального романа» Севастьянова в газете «Серп и молот» почти во всех подробностях совпадает с обстоятельствами появления семнадцатилетней Пановой в редакции ростовской газеты «Трудовой Дон», где она начала работать в 1922 г.

В лице редактора «Серпа и молота» Дробышева описан вполне реальный человек — Виктор Григорьевич Филлов, большевик-подпольщик с дореволюционным стажем, возглавлявший в начале 20-х гг. газету «Трудовой Дон». Его младший брат, Владимир Филлов, был известен в кругу ростовской пишущей молодежи как подающий надежды поэт. В письме М. Г. Козловой в 1970 г. Панова писала о нем: «Это мой старый товарищ по газетной работе и дальний мой родич Владимир Григорьевич Филлов. Его псевдоним — Михаил Вострогин. В «Сентиментальном романе» он довольно точно описан под именем Вадима Железного и Мишки Гордиенко» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65). Еще до революции гимназистом Владимир Филлов издавал вместе с друзьями рукописный журнал «Юная мысль». От него Панова впервые услышала странные слова «ничевок», «имажинист», узнала имя Велимира Хлебникова, а позже Сергея Есенина. В 1922 г. Владимир Филлов выпустил в Ростове вызывающую книжку «Кукиш ничевока», в которой объявил несуществующими все стихотворные размеры и какие-либо системы стихосложения. Как и футуристы до них, «ничевоки» отрицали всю «старую» поэзию и рекламировали себя в качестве единственных создателей нового поэтического слова.

Весь путь героя «Сентиментального романа» Мишки Гордиенко от «ничевока» и биокосмиста до популярного в городе фельетониста Вадима Железного соответствовал реальной биографии Владимира Филова, который действительно за короткий срок стал ведущим фельетонистом газеты «Трудовой Дон», где печатался под псевдонимом Михаил Вострогин.

Прообразом описанного в «Сентиментальном романе» Поэтического цеха на Лермонтовской улице было ростовское отделение СОПО — Союза поэтов, основанное в августе 1920 г. приехавшими из Москвы Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом.

Участниками вечеров ростовского отделения Союза поэтов в начале 20-х гг. были Рюрик Ивнев, Георгий Шторм, Сусанна Чалхушьян, Нина Грацианская, Владимир Филлов, Илья Березарк и др. «Мы выставляли невероятные афиши, свидетельствует М. Ю. Блейман, известный впоследствии кинокритик, успевший в свои восемнадцать лет побывать председателем ростовского СОПО, — в которых были перековерканы буквы и которые иногда следовало читать снизу вверх или справа налево. Мы стремились этими афишами «завлечь» публику. В одной из них мы обещали положить на обе лопатки Христа, Магомета, Будду, Перуна — других богов мы не могли припомнить. Наши поэтические вечера обычно заканчивались скандалами, причем мы бы считали их несостоявшимися и неудачными, если бы скандалов не было» (

Блейман М.Ю. В двадцатые годы. — В кн.: В. М. Киршон. М.: Искусство, 1962. С. 236).

Деятельность ростовского Союза поэтов не раз оказывалась предметом острой критики в местной печати, равно как и деятельность Пролеткульта, претендовавшего на исключительное представительство от рабочего класса, на полную автономию своих организаций от советского государства, а также независимость нового искусства от культуры прошлого см.:

Борисоглебский Н. Пролеткульт в Ростове // Сов. Юг. 1921, 16 июня).

Изображенные в «Сентиментальном романе» эпизоды собрания Поэтического цеха и его закрытия представителем губернского комитета комсомола Югаем имели под собой вполне реальные основания. Под именем Югая, вожака ростовской молодежи начала 20-х гг., выведен Яков Фалькнер, участник гражданской войны, делегат III съезда комсомола,

видевший и слышавший на съезде В. И. Ленина, впоследствии известный партийный работник Ростова.

Многие черты ближайшего товарища Севастьянова ростовского комсомольца Семки Городницкого — его конфликт с отцом, его любовь к поэзии Маяковского, которого он умело читал, его принципиальный спор с братом Ильей Городницким и пр. — Панова взяла от своего первого мужа Арсения Владимировича Старосельского, работавшего в газетах Ростова, а затем Ленинграда и окончившего в конце 20-х гг. КИЖ — Коммунистический институт журналистики. «А. В. Старосельский — это Семка Городницкий «Сентиментального романа», — подтвердила в одном из писем Панова. — И вся Семкина семья — отец и брат — писаны с натуры, что вообще-то со мной бывало очень редко» (Письмо М. Г. Козловой от 20 окт. 1970 г. // ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 65).

Знакомыми с юности социальными биографиями и конкретными характерами Панова воспользовалась и при создании образа Кушли, одного из самых колоритных героев романа. Характер Кушли собирательный, но в некоторых важных подробностях он сопрягается с фигурой молодого Владимира Ставского, будущего писателя, начинавшего в той же ростовской газете «Трудовой Дон». Ставский появился в редакции год спустя после Пановой, в 1923 г., и начало его газетной службы очень напоминает явление Кушли в «Серпе и молоте». Командир Рузаевского красногвардейского отряда, чекист, воевавший против Колчака и Врангеля, Ставский не имел образования и после демобилизации работал в Ростове возчиком гужевого двора. Затем он включился в рабкоровское движение, писал статьи и заметки в газете. На первых порах ему помогал Н. Погодин, будущий драматург и один из ведущих тогда сотрудников газеты «Трудовой Дон», а потом Ставский сам руководил рабкорами (см.:

Симкин Я. Ставский в Ростове // Дон. 1959, № 1. С. 153–158).

Гибель Кушли в «Сентиментальном романе» сюжетно связана с историей Марии Петриченко, селькора из села Маргаритовка, откуда приходили в газету ее заметки и письма, обличавшие кулацкое засилье в деревне и живописавшие тяжелое положение бедноты. В деталях этой истории Панова использовала свои впечатления, вынесенные ею из судебного процесса 1928 г. в городе Армавире по делу о покушении на селькора Акулину Брилеву. Процесс в Армавире взбудоражил всю Кубань. Его страстно обсуждали в самых отдаленных селах и хуторах: обстоятельства дела были характерны для первых лет коллективизации на Северном Кавказе. Как Севастьянов в романе, Панова выезжала в Армавир по поручению редакции. Она написала газетный отчет о процессе, а некоторое время спустя опубликовала по собранным материалам отдельную брошюру (см.:

Вера Вельтман . Дело селькорки Брилевой. Кулацкий мандат в хуторе Веселом // Большевицкая смена (Ростов-на-Дону). 1928, 6 нояб.).

В «Сентиментальном романе» Панова не только воспользовалась своими давними впечатлениями, но и более тщательно проанализировала существенные индивидуально-психологические подробности и причины описанного ею события.

Построенный по законам лирической прозы, «Сентиментальный роман» Пановой сочетает свойства мемуарного и чисто художественного, повествовательного жанра, позволяющего свободно соединять реально бывшее с вымыслом и широко использовать запасы личного, биографического и субъективного опыта. «С бору да с сосенки собирался «Сентиментальный роман», — свидетельствует Панова, — мне он мил тем, что, перечитывая его, я погружаюсь в мир своей юности. &lt;...&gt; И все это писалось просто, без усилий и без натяжки, хотя в этом романе мне больше всего пришлось дописывать, вставлять скрепы, перелистывать листки моей памяти» («О моей жизни...», гл. «Мое первое замужество. Рождение дочери». «Что недописано в «Сентиментальном романе»).

В 1976 г. по мотивам книги Пановой поставлен кинофильм «Сентиментальный роман» (режиссер — И. Масленников).

## Примечания

1

Хозяйственный год начинался 1 октября.

2

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

3

ЛГ — Литературная газета.